АЛЕКСАНДР МАЛЫШКИН

ИЗ НЕЗАКОНЧЕННОЙ ПОВЕСТИ О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

Вступительная статья Л. М. Вольпе Публикация Л. Н. Кузиной

Творческая деятельность А. Г. Малышкина первой половины 20-х годов, как, впрочем, и деятельность большинства советских писателей той поры, овеяна грозовым дыханием революции и гражданской войны. Невиданные в истории человечества события, в которых довелось участвовать многим из этих писателей, требовали осмысления и полнокровного художественного воплощения. Вслед за повестью «Падение Даира», написанной в 1921 г. (впервые опубликована в альманахе «Круг», 1923, № 1), Малышкин создает повесть «Воквалы» («Красная новь», 1923, № 2 и 3), рассказы «Комнаты» («Красная нива», 1923, № 23), «Ночь под Кривым Рогом» («Прожектор», 1923, № 5), «Случай с комиссаром» («Прожектор», 1924, № 1), «Вожди» («Красная нива», 1924, № 43), «Поезд на юг» («30 дней», 1925, № 7), очерк «Эпизод у высоты 210» («Воснный вестник», 1924, № 33). Однако накопленные писателем за годы гражданской войны обильные впечатления всем этим не были еще исчернаны.

В архиве Малышкина, хранящемся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького, наряду с рукописями известных, опубликованных произведений находятся и материалы, относящиеся к незавершенной повести ¹, действие которой должно было происходить, как засвидетельствовал сам автор на одном из листов своей рукописи, в период с октября 1919-го по февраль 1920 г.² На другом листе находим пометку, указывающую время работы над этим произведением: 1923—1925 гг. ³

Современная критика, да и позднейшие исследователи не раз отмечали автобиографизм, постоянно проявлявший себя в произведениях писателя. В. Ермилов имел основание утверждать: «Творчество Малышкина на редкость автобиографично, хотя, разумеется, очень далеко от копирования фактов, являясь высоким художественным обобщением. Автобиографичность как бы подчеркивает кровную, глубоко личную, особенно непосредственную связь автора со всеми судьбами людей, проходящими перед нами в его произведениях, с теми жизненными проблемами, которые решают для себя герои» 4.

Все это в полной мере относится и к незаконченной повести, связанной с одним из этапов военной биографии ее автора. Напомним основные вехи этой биографии.

Малышкин с 1910 г. учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета, делая в то же время первые шаги на литературном поприще. Завершив университетский курс в 1916 г., начинающий писатель осенью того же года был призван в армию и направлен для получения военного образования в «Школу прапорщиков по адмиралтейству при Ораниенбаумской морской учебно-стрелковой команде». Позднее этот период его жизни нашел отражение в повести «Февральский снег» (1927) — первой части «Севастополя».

После окончания школы Малышкин был направлен на Черноморский флот, где занял должность младшего офицера — ревизора на транспорте «Кача», головном судне бригады траления мин. Здесь он провел лето и осень 1917 г., встретил Великую Октябрьскую социалистическую революцию, стал выборным командиром матросского красногвардейского отряда.

Вернувшись после демобилизации в Пензу, он некоторое время жил на родине — в уездном центре Мокшане, активно сотрудничая в первых пензенских большевистских газетах — «Известия Пензенского Совета», «Пензенская беднота», «Ополчение бедноты», «Пензенская коммуна», «Клич». Затем — летом 1918 г. — переехал в Саранск, где жила его жена — Надежда Николаевна (урожд. Кузовкова). С 1 сентября 1918 г. Малышкин

начинает работать учителем русского языка и литературы в Саранском училище (преобразованном в начале 1919-го года в «Саранскую 3-ю советскую школу ІІ ступени»), читает лекции красноармейцам Саранского гарнизона, посылает в пензенские газеты свои рассказы, статьи, фельетоны.

3 декабря 1918 г. в «Известиях Саранского Совета» в «Списке кандидатов, предназначенных на командные полжности» называется и фамилия Малышкина 5. В конце июля 1919 г. писатель был призван в ряды Красной Армии и во главе команны разведчиков направлен в Самару, к фронту (первое письмо из эшелона жене патировано 3-м августа 1919 г.). О последующих событиях, происшедших в его жизни, мы узнаем из письма, отправленного Н. Н. Малышкиной-Кузовковой из Самары 6 августа 1919 г. В нем, в частности, читаем: «Милая Надюща, наконец-то как будто закончилась моя многострадальная Одиссея. Неожиданная встреча совершенно иначе устроила мою судьбу — и, кажется, к лучшему». Подробно рассказав об условиях жизни в теплушках, гле размешалась его воинская часть, он далее пишет: «Я как-то отправился в город и встретил совершенно неожиданно одного приятеля — из Мокшана, которого потерял из виду дет 5 назад; оказывается, он занимает видный пост — состоит уполномоченным для поручений при Главнокомандующем. Он ухватился за меня и сказал, что им требуется очень срочно историкспециалист, не историк ли я? Я ответил, что да. Тогда он начал хлопоты — я получил аудиенцию, а через день предписание к моему командиру полка с приказанием откомандировать в распоряжение начальника штаба. Команцующего. Южной группой для занятия должности в военно-историческом отделе. Прощай, значит, гренадеры и разведчики. Сейчас утро — пишу в комнате моего приятеля, где я ночевал в лучшей гостинице города. Сегодня булу искать квартиру, а завтра уже явлюсь на службу. Ты, наверное, не знаешь и удивишься — зачем историк. Всегда во время войны пишутся истории главных армий — это материал для военной науки и увековечения славы. Мне эта работа, конечно, интереснее, чем всякая другая, и, несомненно, приложу все усилия, чтобы оправдать рекомендацию моего приятеля (...) Теперь все оформление сделано и документы уже на руках» ⁶.

Это письмо дает нам возможность установить, во-первых, благодаря каким обстоятельствам Малышкин стал сотрудником штаба Южной группы Восточного фронта, и, во-вторых, уточнить дату начала его служебной деятельности в Самаре — 6 августа 1919 г.

Из другого письма к жене, которое можно датировать 3-м или 4-м сентября 1920 г., мы узнаем и о том, когда закончилось его пребывание в Самаре: «Все наши уже уехали \(\lambda\ldots\rangle\) Я получил приказание отправиться одиночным порядком. Теперь доживаю в Самаре последние дни, а 6-го сентября с попутным эшелоном направлюсь в Кременчуг \(\ldots\rangle\) Если случится что-нибудь особенное, пиши в пространство: Действующая армия, штаб 6-й армии, Оперативное управление, начальнику Информационно-исторического отделения» 7.

С 6-й армией Малышкин участвовал в боях за Каховский пландарм, в штурме Перекопских укреплений, в освобождении Крыма от врангелевских полчищ. После завершения Перекопско-Чонгарской операции и недолгого пребывания в Крыму он служил в Херсоне, а затем был переведен в Учебный отдел Военной академии в Москву. После демобилизации из Красной Армии в конце 1923 г. стал работать в газете Народного комиссариата по военным и морским делам «Красная звезда» (первый номер вышел 1-го января 1924 г.).

Таковы основные вехи живни Малышкина в годы революции и гражданской войны. Для нас сейчас важен период его службы в Самаре, который, как помогли установить письма писателя, длился ровно 13 месяцев: с 6 августа 1919 г. по 6 сентября 1920 г.

Некоторые из сохранившихся писем дают известное представление о характере его служебной деятельности этого периода. Так, 22 ноября 1919 г. он пишет: «Что касается моей работы, то первая часть ее была отпечатана на машинке и представлена «по начальству». Результаты — самые лестные. Отделение получило благодарность, на работе наложена резолюция— «Обстоятельная и серьезная работа». В смысле здоровья она мне действительно стоила немало (...) Когда закончу и остальную половину, нарисую схемы и планы, — тогда подам рапорт об отпечатании ее в нашей типографии. Говорят, что это осуществимо, если к тому времени бумажный кризис не превратится в полное безбумажье» 8.

Речь здесь идет о военно-историческом сочинении Малышкина «Бугуруслано-Уфимская операция Южной группы 11 апреля—19 июля 1919 года», в которой характеризуется



А. Г. МАЛЫШКИН В ПЕРИОД РАБОТЫ В ШТАБЕ 6-Й АРМИИ Фотография. Херсон, 1920 Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва

стратегический замысел М. В. Фрунзе по разгрому левого крыла колчаковского фронта, выразительно показан ход боев, последовательно воссоздан боевой путь 25-й Чапаевской дивизии.

Сочинение это хранится в Отделе рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького и, к сожалению, до сих пор не опубликовано 9 .

В других письмах к жене много внимания уделяется бытовой стороне самарской жизни ¹⁰. Эти впечатления впоследствии найдут отражение в незавершенной повести.

Когда Малышкин прибыл в Самару, там находился штаб Южной группы Восточного фронта. Но уже в середине августа 1919 г. Южная группа была превращена в особый, самостоятельный Туркестанский фронт. Он пополнялся свежими частями.

Повесть Малышкина и начинается с изображения подготовки к формированию новой дивизии, которой предстоит совершить большой поход в Среднюю Азию. Вот как характеризует сам автор в одной из своих записей обстановку, в которой должно развертываться действие повести: «Освобожденная Сибирь. Передовые части Красной Армии соединились с Туркестаном. Фронт, боровшийся против Колчака на южном участке, нацелен теперь на Среднюю Азию. Но назначение его дивизионных и военных аппаратов еще не-известно.

Огромная фронтовая гостиница-общежитие — «Красная Армия». Раньше — международный отель на мировой дороге из Европы в Среднюю Азию, Персию. Сверху донизу населен работниками штаба фронта и их семьями: здесь бывшие генералы, офицеры генштаба, даже осколки некогда титулованной знати, политработники, курьеры связи. Все это кочевьем движется по следам Красной Армии, сзади голодная, тифозная Москва, Петроград, здесь — сытая жизнь; впереди — на путях наступающей армии — чудятся ка-кие-то еще более обещающие дали.

Но будущие пути еще никому неведомы. В гостинице — только слухи» 11.

Командующим армиями Туркестанского фронта был назначен М. В. Фрунзе, до этого командовавший Южной группой Восточного фронта, а затем и всем Восточным фронтом.

Неудивительно, что на одном из листков, вложенных в рукопись повести, мы находим такое название — «Поход Фрунзе» ¹². Впрочем, это написано рукой неустановленного лица, нигде название это не повторяется, и у нас нет достаточных оснований считать его авторским.

Образ самого Фрунзе встречается только в одной сцене, которую, правда, можно считать отправной для всего последующего развития сюжета. Это беседа Командующего фронтом с Клеминым, сражавшимся против Деникина, участвовавшим в ликвидации рейдового корпуса белогвардейского генерала Мамонтова, а теперь переброшенным на Восток, на вновь образованный Среднеазиатский (Туркестанский) фронт.

Командующий фронтом не назван по имени и фамилии, но в его характеристике легко узнать Фрунзе. «Когда-то они вместе выехали из рабочего дымного уезда, ставшего русским Манчестером (...) Теперь его большая, квадратная в рыжем ежике голова была известна не только России. Это его внезапные и истребительные охваты и ударные кулаки, в которые он умел сгущать и молниеносно комбинировать неуклюжие, трудно поддающиеся расчету, но буйные волей красноармейские и красногвардейские орды (потому что тогда не было армий), разбили и отбросили белый фронт на востоке за Урал и к Каспию. Всюду шла с ним кучка людей, ребят уезда, теперь выброшенных вместе на верха России. Ов был не только командующий — товарищ...» (наст. том, фрагмент 1).

К сожалению, образ командующего в сохранившихся фрагментах повести больше не показан и лишь упоминается в отдельных вариантах плана. Но к образу полководца, под водительством которого, в сущности, прошла вся служба Малышкина в рядах Красной Армии, писатель обращался и в своей работе историка и журналиста. Когда 31 октября 1925 г. Фрунзе не стало, Малышкин откликнулся на эту смерть проникнутой скорбным пафосом статьей «Боевой путь вождя»: «Товарища Фрунзе знают боевые знамена, исхлестанные ветрами Приуралья, Туркестана, Таврии — ветрами необозримых долин, дорог, тысячеверстных пространств, где невидимая рука вождя двигала к победам могучие массы революционных армий» 13. Не перекликаются ли эти строки с повестью о готовящемся походе на Восток, над которой именно тогда работал писатель?

Уже в первых, экспозиционных главах повести вырисовываются ее главные персонажи. Это прежде всего начальник формируемой дивизии Семен Клемин, о котором мы читаем в одной из авторских записей: «Семен Клемин — сын сторожа, был на заводе, ушел в армию. Подвезло — оттуда явился революционером-командиром. Он в глубине прост — озлоблен, мститель, но есть крестьянская романтика — это Индия» ¹⁴. В тексте повести с ее отступлениями в прошлое мы узнаем о его детстве, типичной биографии характерного для Малышкина героя, «человека из захолустья», в ходе революции выходящего на просторы мировой истории.

Для художественной структуры произведений Малышкина характерно наличие лейтмотивов, обычно в виде образов-символов. В рассматриваемой повести с Клеминым связан возникающий в его сознании еще в детские годы образ романтической мечты — «Индия».

Малышкин всегда писал о людях, плененных мечтой. О грядущем, неуловимом счастье каждый из них грезил по-своему. «Ярь-пески, туманны горы», скрывающиеся за непреодолимой террасой, как «брезжущий в потемках рай», манят к себе безымянных героев «Падения Даира». Неведомая «Атлантида» часто волнует искушенного в философии Сергея Шелехова («Севастополь»). «Город-заря Сызрань» нередко встает заманчивым видением перед глазами мастера-краснодеревщика Ивана Журкина («Люди из захолустья»). В ряду этих образов-символов, обозначающих извечную тягу человека к далекой мечте, занимает свое место и образ Индии, символизирующей сказочно-счастливый мир.

С образом Индии перекликается и другой лейтмотив, выраженный во французском слове «мондьяль» (мировой), мотив мировой революции, о которой мечтало тогда множество людей и к торжеству которой, как представляется Клемину, приближает намеченный поход, несущий освобождение братским народам Средней Азии.

Семен Клемин видит в новом задании командующего осуществление и своих давнишних мечтаний, туманных мальчишеских грез, и надежд миллионных масс трудящихся.

Потому-то он, как зачарованный, следит за работой своего начальника штаба — Августа Ивановича Люде, что-то вымеряющего циркулем на карте, превращающего, как кажется Клемину, его мечту в явь.

Люде, бывший «капитан (в других вариантах — полковник) Генерального штаба» (или, как принято было писать в официальных документах после отмены всех чинов и званий, — «Генерального штаба Люде»), латыш или эстонец, «хладнокровный, опытный викинг» 15, по определению автора, как бы воплощает путь военного специалиста — «военспеца», безоговорочно пошедшего на службу революции. Можно полагать, что какие-то черты для образа Люде Малышкин взял у командующего 6-й армией Августа Ивановича Корка (тоже бывшего офицера Генерального штаба и эстонца по национальности), под начальством которого он служил на Южном фронте. Этим и объясняется совпадение имени и отчества.

Если Клемин и его начальник штаба — люди, целиком преданные революции и ничем себя не запятнавшие, то иным предстает перед нами исполняющий обязанности начальника снабжения дивизии — Свиридов. Он работал одно время в органах Чрезвычайной комиссии, но был уволен оттуда по подозрению в провокаторской деятельности в годы первой русской революции. Поэтому Люде относится к нему с настороженностью и подозрительностью, в отличие от решительного, но доверчивого, увлеченного своей мечтой Клемина. Это отношение Люде к Свиридову вполне оправдывается дальнейшим развитием действия. В одном из набросков повести дается зарисовка местного базара, «торжища», где орудуют спекулянты, в сношениях с которыми оказывается замешанным Свиридов ¹⁶. Впрочем, в сохранившихся фрагментах повести характеристика его, как и некоторых других лиц, остается не вполне ясной.

Среди персонажей повести мы находим и лицо, наделенное в известной степени автобиографическими чертами. Это один из дежурных адъютантов командующего фронтом. Писатель сообщает о нем в цитированном отрывке: «Революция, войны, фронты — ухватили его тотчас же по окончании университета (так же, как и самого автора. — Л. В.). Намечавшаяся карьера будущего приват-доцента оказалась прерванной. Но он продолжает мечтать о работе, о труде, который даст ему будущее. Бережет себя для будущего» ¹⁷. В одних вариантах он носит фамилию Шелехова, в других — получает уменьшительное имя Додика (из писем Малышкина мы узнаем, что так звали одного из его сослуживцев по Оперативному управлению). В незавершенной повести он пока где-то на втором плане. На первый план он выйдет в следующем произведении писателя — «Севастополе».

Существенное значение в повести о войне неожиданно приобретает еще одна тема — тема школы, тема детей, тема будущего. В беглых зарисовках писатель показывает, что школа переживаемого времени в сложнейшем положении. «В школах — заивдевевшие стены, незастекленные окна, дует, в школах нет бумаги, перьев, нет учебников». Учителя порой без жалованья, без пайка. Но в наробразе говорят о прекрасных домах для детей — домах, полных света, «где каждое движение, каждый жест человека-ребенка будет ритмичен и полон красоты». И заведующий губнаробразом, молодой энтузиаст, тяжело больной («легкие сгорели — и он умрет завтра»), страстно верит в то, что будет создана жизнь, с первых шагов человека пронизанная красотою, что в огромных стеклянных дворцах «дети будут учиться труду, но это будет не только труд, но и радость, танцы, музыка» (наст. том, фрагмент 2). За воплощение этой мечты стоит воевать, идти на смерть, преодолевать нескончаемые версты тяжелых походов.

Мы видим, что повесть Малышкина намечалась как сложное, многоплановое произведение, в котором, по словам самого автора, «фантастика (Клемин, Индия) мешается с реальностью (гостиница)» ¹⁸, изображение событий настоящего с воспоминаниями о прошлом, с грезами и мечтаниями о будущем.

Это определило и разнообразные стилевые тенденции произведения. Если в описании быта гостиницы, обывательских забот некоторых ее обитателей мы находим натуралистические черты и в то же время чувствуем иронию писателя, то мечты об освободительном походе и все изображение России, пришедшей в движение, выдержаны в приподнято-романтических тонах.

Показательно в этом отношении начало одного из фрагментов повести, представляющее как бы своеобразный запев: «Из-за Волги — с калмыцких, башкирских, пугачевских земель идет пурга» (наст. том, фрагмент 3). Многократно повторяющийся образ ветра, пурги, бурана, метели для передачи исторического движения человеческих масс роднит эту повесть с революционной поэмой Александра Блока, с прозой ряда советских прозаиков 20-х годов — Вс. Иванова, Б. Лавренева, Б. Пильняка, Арт. Веселого, с другими произведениями самого Малышкина тех лет.

«Подъемные эпохи, всем народом переживаемые,— справедливо писала Мариэтта Шагинян,— отражаются в прозе пафосным ритмом» 19. Для стиля неоконченной повести Малышкина, как и для его же «Падения Даира» и «Вокзалов», как раз и характерна взволнованная ритмичность, создаваемая инверсиями, нагнетанием однородных слов («это свет из страны чудовищной, недостижимой, прекраснейшей», «там мечутся, кричат, хрипят в огненном сне»), параллелизмами («отскрипели дровни, отскулил самовар»), анафорами, новторами, риторическими вопросами («И разве в туманах — на тех землях — не сойдутся их пути (...)? И разве не будут петь о всех — и об этих? И засыпали. И ветры шумели — теми путями, которыми уже шли. И в ветре, в пути были глаза задавленных, прорвавшихся к свету»).

В языке повести много безличных предложений («и прорвало от черной ночи, от платформы, неслось, скакало в ночь — без гудков, без отней»), неопределенных наречий и местоимений (где-то, откуда-то, каких-то), неологизмов («мутево», «серь», «излучивались»), субстантивированных прилагательных («пройти через город, в безбрежные земли, в муть, в гиблое и пурговое»). Все эти лексические и синтаксические особенности придают повествованию какую-то импрессионистскую неясность, подчеркивают стихийность и хаотичность изображаемых событий, стихийность, явно преувеличиваемую писателем. Поэтому нас не должны удивлять такие встретившиеся уже в одной из цитат слова, как «буйные волей (...) орды» в применении к первым красноармейским, полупартизанским формированиям. Вспомним, что примерно в те же годы Ник. Тихонов назвал свой первый сборник романтических стихотворений о современности — «Орда».

Но важно отметить и другое: Малышкин не забывает сказать, что эту хаотичность и стихийность происходящего стремится ввести в определенное русло «организационный разум» пролетарской революции — Коммунистическая партия.

Малышкин работал над своим произведением напряженно и упорно. Об этом свидетельствует наличие многих вариантов первых глав, обилие поправок, вычеркиваний, дополнений, бросающееся в глаза даже при беглом знакомстве с рукописями. Чувствуется, что писатель стремился четче выразить идею, рельефнее вылепить образы, тщательно шлифовал каждую фразу. И все же работа не пошла далее создания экспозиционных глав. Может быть, писателю не хватило для воплощения своей темы конкретных жизненных наблюдений. Ведь Малышкин (в отличие от Д. А. Фурманова, например) так и не побывал на полях сражений Туркестанского фронта. Когда командующий прибыл в феврале 1920 г. в Среднюю Азию, где находился до сентября того же года, Малышкина в составе его полевого штаба не было: по роду службы он оставался во втором эшелоне фронта — в Самаре.

Возможно, что автору стал казаться несколько искусственным, надуманным занимавший столь значительное место мотив Индии: ведь реальный поход войск Туркестанского фронта не преследовал цели непосредственной военной поддержки индийского освободительного движения, о чем склонен был мечтать Клемин. А вскоре писателя целиком захватил новый замысел, только намечавшийся в повести о Туркестанском походе, — история гражданского формирования молодого интеллигента в обстановке революции, история, целиком построенная на автобиографическом материале. Началась работа над повестью «Севастополь».

Правда, года через два Малышкин вернулся к своей прежней теме, на сейраз попытавшись облечь ее в драматическую форму.

Во второй половине 20-х годов Московский Художественный академический театр (тогда — МХАТ I), стремясь к обновлению репертуара, к сближению с советской действительностью, завязывает широкие связи со многими советскими писателями, преимущественно младшего поколения. На сдене театра ставятся пьесы Вс. Иванова, К. Тренева, М. Булгакова. Вал. Катаева, Л. Леонова. По совету В. И. Немировича-Данченко режиссер Б. И. Вершилов и заведующий литературной частью театра П. А. Марков в 1928 г. обратились к Малышкину с просьбой написать пьесу для МХАТа. Писатель откликнулся на это предложение и, продолжая работать над повестью «Севастополь», начал трудиться над созданием пьесы, условно названной «Легенда». В основу ее сюжета он положил замысел неоконченной повести. О ходе работы над пьесой можно судить по со-

хранившимся в архиве письмам. В недатированном письме к Клавдии Николаевне Кузовковой (сестре его жены, умершей в 1920 г.) он сообщал: «Пьесу пишу для І-го Художественного театра (старого), по их предложению (поактно работаю с режиссером). Думаю закончить ее уже к осени, да, если она будет одобрена, будет около двухсот репетиций значит, увижу ее на сцене не рапьше 1929—30 года. Там очень культурные люди, они одобряют, работается с большим увлечением» ²⁰.

В недатированном письме Малышкина к Б. И. Вершилову читаем: «К этой вещи я вообще подхожу со священным страхом, надеждами на удачу первого же опыта отнюдь очень не обманываюсь, но все же для меня это — вещь, которую когда-нибудь надо сказать. И чувствую, что не оставлю ее до «победного» (в смысле самоудовлетворения) конца» ²¹.

В беседе с автором настоящей статьи (3 июня 1952 г.) Борис Ильич Вершилов сказал: «Пьеса, к сожалению, не удалась писателю. В. И. Немирович-Данченко, прочитав представленный вариант, нашел, что, несмотря на умелое построение образов, несмотря на живой, яркий диалог, несмотря на хорошо завязанный «конфликтный узел», пьеса не сценична, нет, по существу, развязки, ставить в таком виде пьесу нельзя» ²². Малышкин, по всей вероятности, взялся за радикальную переработку своего первого драматического произведения, но работа не была завершена. В письме к К. Н. Кузовковой, обозначенном — «30/XI», но, к сожалению без года (1928 ?), говорится: «Сам я в настоящее время занят окончанием романа. Пьесу пока оставил — надоела» ²³.

Текст пьесы, несмотря на все усилия исследователей, до сих пор не обнаружен. Н. Малахов, проанализировавший сохранившиеся в отделе рукописей ИМЛИ материалы к пьесе ²⁴, предложил в своей статье «"Легенда" А. Малышкина» ²⁵ во многом убедительную реконструкцию ее сюжета. Тем самым он помог более отчетливому уяснению и некоторых особенностей намечавшегося сюжета неоконченной повести. Ведь оба эти произведения базируются на одной основе.

Теперь читатели могут познакомиться и с самой повестью по нескольким ее фрагментам, представляющим несомненный интерес.

Основанные на живых впечатлениях ее автора — участника гражданской войны, они дают возможность читателю лучше понять, почувствовать атмосферу тех незабываемых суровых лет, героических устремлений и романтических порывов, сочетавшихся с неимоверными трудностями быта, с попытками некоторых случайных лиц, примазавшихся к революции, и тут «сделать карьеру», «извлечь личную пользу». Печатаемые страницы повести позволяют нам полнее представить себе и творческую биографию писателя, направление его художественных поисков в 20-е годы, эволюцию его образов и стиля. Тут существенны многие детали. Всего в одном эпизоде возникает перед нами фигура казначейского сторожа Антона Ивановича, отца братьев Клеминых. А ведь как она характерна, сколько вызывает ассоциаций! Сразу вспоминается отец героя «Людей из захолустья» Николая Соустина — пекарь по прозвищу «Собачка». Между ними несомненное родство. А изображение телеграфиста Вани Клемина, его быта, его обывательских страхов, его отношения к мамаше? Ведь это — тот же «Мшанский уезд». Становится ясно, что незавершенная повесть — своеобразный «мостик» от раннего творчества Малышкина, от «Падения Даира» и «Вокзалов» не только к «Севастополю», но и к «Людям из захолустья».

Знакомство с публикуемыми фрагментами обогащает наше представление о путях развития советской прозы периода ее становления.

Сохранившиеся рукописные материалы повести — 90 пожелтевших от времени листов разного формата, исписанных беглым, трудноразбираемым почерком, — разнородны по содержанию. Здесь и планы повести, и списки действующих лиц, порой с краткими характеристиками, и конспекты, и наброски текста отдельных глав. Варианты планов свидетельствуют о том, что в повести намечалось восемь или девять глав.

Ниже публикуются три фрагмента:

- 1. Текст I главы (ед. хр. 11, лл. 1—16 об.)
- 2. Текст II главы (ед. хр. 10, лл. 15-20 об.)

Номера обеих глав (I и II), а также звездочки внутри глав обозначены автором. Завершенность фрагментов отмечена автором в том и другом случае чертой под текстом.

Тексты первой главы и ьторой главы принадлежат к разным редакциям. Поэтому

в них не все согласовано. Так, например, Свиридов приезжает в гостиницу дважды: сначала в первой главе, а затем — во второй. Другие варианты этих глав в публикации не воспроизводятся.

3. Фрагмент (ед. хр. 11, лл. 18-19), принадлежность которого к определенной главе установить трудно. Он не завершен, но представляет собой единое связное повествование. Начало фрагмента обозначено звездочками. Последний лист не дописан и никакого знака, указывающего на завершенность фрагмента, нет.

В конце публикации дан отрывок, тематически перекликающийся как с третьим, так и со вторым фрагментами. Часть текста зачеркнута и ничем не заменена. Она также печатается (в квадратных скобках).

В других случаях зачеркнутые слова и строки не воспроизводятся.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИМЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 9—11. См. также ед. хр. 39, лл. 1, 14, 23—24. В дальнейшем при ссылках на этот фонд указываются только: ЙМЛИ, единица хранения и лист.

² Там же, ед. хр. 9, л. 23. ³ Там же, л. 10.

4 В. Ермилов. Мечты о счастье. Писательский путь Александра Малышкина.— В кн.: А. Г. Малышкин. Соч. в 2 томах, т. 1. М., 1965, с. 3.

5 «Известия Саранского Совета», 1918, № 42, 3 декабря, приложение.

⁶ ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 4, л. 28.

⁷ Там же, л. 20.

⁸ Там же, л. 48.

9 ИМЛИ, ед. хр. 120.

10 См. ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 4.

11 Опубликовано в статье Л. Вольпе «Творчество А. Г. Малышкина в 1922—1927 гг. (От «Падения Даира» к «Севастополю»)». — Уч. зап. Пензенского гос. пед. ин-та им. В. Г. Белинского, вып. 1, Пенза, 1954, с. 90. ¹² ИМЛИ, ед. хр. 9, л. 1.

13 «Красная звезда», 1925, № 251, 3 ноября. 14 ИМЛИ, ед. хр. 9, л. 22.

¹⁵ Там же, л. 36.

16 Там же, ед. хр. 10, лл. 21—24. 17 Уч. зап. Пензенского пед. ин-та, вып. 1, 1954, с. 90.

18 ИМЛИ, ед. хр. 9, л.31. Эта фраза заключает фрагмент, который был найден и прочитан Л. Н. Кузиной: «Индия; есть пошлые — есть ужаснувшиеся — но и те, и другие идут. Первых — манит обилие, тоже манчит что-то сказочное — по-своему заманчивое. Вторые — сквозь ужас — видят красоту и мечтают об отрыве от обычного; но — бескрылы.

Серафима — жизнь.

Поезда на Индию-шли среди ужаснувшихся и бегущих и прячущих мешки с запасами. Циклон додыхивал до Индии. Но она была — другая — не пальмовая, а озаренная. Страшны глаза увидевших ее - а вдруг не дойти.

В сущности, в повести фантастика (Клемин, Индия) мешается с реальностью («Гости-

ница»).

¹⁹ В.Л., 1973, № 7, с. 96. ²⁰ ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 5, л. 21—22. ²¹ Архив М. П. Малышкиной (Москва).

22 Запись беседы хранится у автора настоящей статьи (Москва). 23 ЦГАЛИ, ф. 1258, ед. хр. 5, л. 7. 24 ИМЛИ, ед. хр. 115. 25 ВЛ, 1959, № 11, с. 191—194 (см. также кн.: Н. Малахов. Об Александре Малышкине. Очерк творчества 20-х годов. Ташкент, 1960, с. 76-82).

$\langle \Phi PA\Gamma MEHT 1 \rangle$

Когда-то полуевропейский отель на сквозном пути в Ташкент, Персию и Бухару. Когда-то через все эти лощеные коридоры, вестибюли, комфортабельные номера циркулировала исключительно публика международных и скорых, и деловая и веселящаяся; сквозь открытые ниши в верхних коридорах гудели высоты ресторанного зала, гремел симфонический внизу, в кино «Ориент»; свет мировых городов, экспрессов — молочно-произительный бил с фронтона прямо в остолбенелую губернскую глухомань. Теперь в ресторане — столовая сотрудников фронта, населивших все этажи. Теперь



М. В. ФРУНЗЕ Фотография. 1919 Центральный музей революции СССР, Москва

ходили в зеркальный вестибюль ночью и днем, ни сколько не сдерживаясь аже в полночь прогромыхать по коридору вовсю увесистыми, забывчивыми сапогами, будто здесь тоже осеннее, слякотное поле, огоньки цигарок, винтовки и братва. Входили и поселялись разные, приезжал с яицкого фронта командарм из прапорщиков, разносил матом коменданта на все коридоры, ночью вдруг начинали выкрикивать речи, встречая делегацию монголов из Средней Азии, куда только что прорвался фронт, политработники тискались в одном белье в дверные щели, заспанно махали руками, кричали «да здравствует», «ура»; ночью увели из 301-го сестру милосердия, оказалась агентом белогвардейской разведки, а в гостинице думали, что ничего особенного — только мажет губы и распевает романсы Вертинского; расстре-

ляли. И хотя в коридорах и номерах сохранялось еще кое-что от отеля — портьеры, ковры, шикарная когда-то мебель модерн, матовые полусумерки вечером, где вот-вот заноют кафешантанные скрипки, зажужжит в матоворябых стенах лифт, вознося сигарных, цилиндровых, сытых, бездельно и упоенно постукивающих пальцами по костяному набалдашнику, — хотя в номере мадам Нейбар или княгини Аристовой или там еще кое-кого из спецов как-то сами собой создались нарядные, раздушенные, кружевные уюты, все-таки нельзя было забыть, что главное, это — осеннее слякотное поле, мамонтовщина, бои под Орлом, винтовки и огоньки цигарок в ночи, вшивые эшелоны: из них и в них проходили и уходили ночью и днем, как сквозь колючий ветер, и на фронтоне, на высоте четвертого этажа, рабочий протягивал руку красноармейцу, указывая другой в вышину Волги, перелесков, яицких там степей, и крупно золотело: гостиница «Красная Армия».

* * *

Маршрут: бои на железнодорожном валу за Орлом, отступление с остатками измученного, излохмаченного и голодного отряда по улицам Орла, под пулями оконных и подворотных засад, Москва, — там для фронтовиков давали обед — жидкий суп, комочки котлет, кофе с ложкой сахарного песку, там говорили речи. Член Коминтерна — круглый, приземистый, в пиджаке поверх вязаной фуфайки; он багровел, приседая, хватая воздух скрюченными пальцами, исступленно кричал: — капиталь мондьяль! революсьон мондьяль! и море грязных, свалянных шинелей и полушубков и косматых малахаев орало, остервенело махало шапками, не понимая слов, это орали и махали туда, за махорочную муть комнат, и за голодные улицы, в запертые, запрещенные, расплеснутые где-то огромно страны, уже приподнимающиеся там в своих туманах, откликающиеся на зов...

Дорогой Клемин вспомнил, тихонько рассмеялся про себя — ха-ха! мондьяль!..— показалось чудно, спросил у спутника, полковника-геншта-биста Люде: «Август Иваныч, вы там учились по-иностранному-то, что это такое: мондьяль!..»

Ехали в штаб среднеазиатского фронта, откуда три месяца назад товарища Клемина бросили с отрядом на помощь южному, — теперь командующий фронтом вызывал обратно. Клемин прошел к нему прямо с вокзала.

— Вы назначаетесь начальником стрелковой дивизии, которую надо срочно формировать немедленно. Ядро... бригады... полки... В сентябре мы соединились с Туркестаном. Ваша дивизия предназначается для оккупации Средней Азии.

Клемин слушал, глядя в светлые глаза рыжеватого, рыхло-белого, — когда-то они вместе выехали из рабочего дымного уезда, ставшего русским Манчестером, вместе пережили первые дни гражданской войны, неверные и жуткие, как петля... Теперь его большая, квадратная в рыжем ежике голова была известна не только России. Это его внезапные и истребительные охваты и ударные кулаки, в которые он умел сгущать и молниеносно комбинировать неуклюжие, трудно поддающиеся расчету, но буйные волей красноармейские и красногвардейские орды (потому что тогда не было армий), разбили и отбросили белый фронт на востоке за Урал и к Каспию. Всюду шла с ним кучка людей, ребят уезда, теперь выброшенных вместе на верха России. Он был не только командующий — товарищ... От этих дружественных светлых глаз охватывало теплотой, предчувствием какой-то большой и удачливой работы.

— Дивизия, которую вы будете формировать, со временем может развернуться в армию. Во всяком случае вам будут даны особые полномочия.

Клемин молчал, как бы думая. Теперь надо было заговорить о главном.
— Товарищ... я хотел бы вот что... Вы помните наш разговор летом, перед моей командировкой?

Он перегнулся через стол, голубые выпуклые глаза его были воспалены, может быть — это дорога, муть, давка в командировочном вагоне —

— Я проездом в Москве был у этого (он назвал крупное имя по Средней Азии)... Он сказал, что в центре об этом не было мысли, и вообще... ничего.

Он глядел, он спрашивал в самые глаза — они были близки, безбрежны, как пространство мимо летящих вагонов, как воздух тогда над головами лохматых, шинельных, орущих; он сквозь глаза, сквозь стены видел и поля и рябь голов, все неслось, лохматилось в ветре: мондьяль...

Командующий улыбнулся.

— Об этом нельзя еще громко... Но я скажу: поход возможен. — Глаза его стали упорными, они знали... — Поход возможен. Я как раз хотел добавить, чтобы вы производили формирование и снабжение применительно к этому плану. Антанта не снимет блокады и не прекратит вмешательства, пока не раздавит революции. Нам нужно, не дожидаясь, бить самим...

Клемин встал.

— Товарищ командующий, я привез с собой работников, один — чекист, другой — генерального штаба, я их знаю по Орлу.... могу ручаться, что именно такие подойдут. Завтра же приступим к работе. Этим там смешно, что мы мировую революцию устраиваем; увидим... А я, товарищ...

Он пожал ему руку—не командующему, а как полтора года назад, на вокзале, когда уезжали — куда? — ничего не теряющие, смеющие, дерзкие на все. Поход. Товарищ...

Он вышел мимо адъютанта, впившегося в него собачьим внимательным лицом. На улице, в осенней морозной пасмури, опять вывернулось зачем-то это чудное, смешное слово —

— Мондьяль... ха-ха — и счастливо засмеялся.

* * *

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Ранним, матово-тусклым свечением зажглось электричество в коридорах — теплых, бесконечно длинных, тусклые шары света виделись, как в тифу... Сотрудники проходили по коридорам — в кубовую за кипятком, в очередь за ужином, и больше всех шли — и слаще — на кухню, к общей плите, где жарили, варили, подогревали остатки от обеда, пробовали деревянными ложками — ели на ходу — были такие дни: есть, есть... Там генерал, весь уйдя в это, порученец при инспекторе кавалерии, бросал сырые куски теста в кипящее подсолнечное пайковое масло — всходили оладьи пышно, розово, сочно, и генерал жадно и любовно клал их на тарелку и тайком кусал, обжигаясь, давясь, — о, если бы поглядели теперь оттуда, из голодной, зачумленной Москвы, где на унции дают ржаной с пометом, с колючками, если бы поглядели, как здесь кусками, полным ртом, даже падает, даже валится на пол! Если бы поглядели из Москвы: у княгини Аристовой она еще только полгода назад стояла с терракотовыми статуэтками в тех унизительных опорках, на Смоленском, на Сухаревой из-за каких-нибудь десяти фунтов ржаной муки — теперь в духовке настоящий пирог с мясом, теперь там, в кружевном, раздушенном номере, под бархатным диваном мука, мешки крупы, сахар, в прихожей подвешен мешок с салом из Оренбурга; если бы поглядели — на этих жен самых рядовых, самых обыкновенных спецов из оперативного, из административного, шипящих друг на друга из-за очереди к плите, к шипящему, благодатному огненному чугуну с полными котелками крутой, прелой каши, какого-то там ворчащего румяного мяса, компотов, борщей — все это было как сны! — на этих курьеров в новых шикарных синих бриджах, офицерских френчах, с бриллиантом на пальцах, курьеров, пекших блины и по-мужски, неумело, ухарски ложками льющих драгоценное, золотистое настоящее коровье масло — так что у жен спецов вчуже неприятно, болезненно и завистливо закатывалось — курьеры ездили в Москву каждую неделю с секретными пакетами, вместе с пакетами

возили туда муку, сало, а оттуда пудру, мыло, духи — от этого были суконные бриджи и френчи и бриллианты у них, год назад готовившихся гденибудь в Сокольниках подмастерьем у портного, где-нибудь посыльным при конторе, где-нибудь с пучком дамских гребенок на Сухаревке или с тачкой у вокзала; или на эту мадам Нейбар — она всегда в черном или зеленоватом шелке, грудь и щеки сказочны, розовы от жара — как пухлая прелесть надувшегося, нежного, теплого дветка — мадам Нейбар, жарившую свинину с картофелем, свинину — плававшую, дрожавшую от жара в коричневом соку, переворачиваемую вилкой в бережных, розовых, опасливо отдергиваемых пальчиках, мадам Нейбар, знавшую сумерки особняка и свечи на рояле, в тьме, где вдвоем, и бархатные, в блаженную небывалую тьму уносящие, улелеивающие вальсы — но разве свинина, в этот вечер над голой и изрытой осенней землей, где ветер и расстрелы и дикие, страшные там гдето сшибы человечьих остервенелых груд и голодная, обезумевшая Москва разве свинина на огненной, сверкающей плите не может стать волшебнее, тревожнее, невероятнее качающих сумерки сердца грез, чем вальс, чем даже обезволивающей сладостью окутывавший тот вальс «Грусть»?..

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Вечером зажигались тускло-матовые шары в коридорах, чаще хлопали двери — все сотрудники были уже дома, где-то пианино окрашивало в грусть воздух, прохолящего человека с котелком, огромное окно в морозный нелюдимый сумрак, кто-нибудь, ухом к двери, замирая, ждал женщину к себе в комнату, играли дети, звонко сбегая в колодец лестниц. Вечером из номеров шли на кухню, к общей плите, где собиралось общество, где жарили, пекли, подогревали остатки от обедов и рассказывали обо всем; вечером на кухню тянуло обещанно и сладко — и кухня, и этот сытый, дешевый мукой, салом и мясом край, в который пришли за армией, были как сон, к которому еще не привыкли, не поверили после страшных, голодных дней.

И еще шли на кухню потому, что там знали все.

В этот вечер четверо подъехали к гостинице «Красная Армия» на грузовике.

Четверо приехали вечером, о них звонили в гостиницу от наштафронта: «прибывших с товарищем Клеминым разместить во что бы то ни стало». Дежурный комендант бежал встречать, звякая шпорами, сразу через две ступеньки. Внизу вскрыли нежилую давно комнату, единственную, не занятую пока никем, топили камин, подметали, торопливо несли и расставляли мебель: комнату предназначили для семейного, семейный из приехавших был чекист Свиридов с женой. Он прошагал через паркетный вестибюль коренасто и угрюмо, не глядя ни на кого, в руках пронес женщину, закутанную в шали до самых глаз. Еще двоих повели наверх, в комнату товарища Клемина — пока; двое были — полковник генерального штаба Люде и вестовой Митька Махновед. И немного позже прошел от командующего сам товарищ Клемин, придерживая на боку футляр маузера крупной узластой рукой и опустив смехучие свои глаза, словно не желающие сейчас глядеть в ничьи другие... И гостиница приняла всех в вечернее озеро освещенных насквозь коридоров, лестниц и движений; и как озеро сомкнулась потом.

И вечер перед великим походом, о котором безумели опущенные смеху-

чие в себе глаза, был как все вечера...

А на кухне уже знали, что вернулся товарищ Клемин и с ним приехали четверо новых из-под Орла. О Клемине говорили вполголоса, потому что Клемин был партийный и пользовался влиянием у командующего; жены спецов говорили сладким полголосом, потому что рядом вертелись политработницы, могли слышать, среди них могли быть агенты особого отдела, может быть, и потому, что через Клемина можно было — все, быть близко к Клемину было выгодно и заманчиво, поэтому и разговор о нем был смутносладким и мечтательным предвкушением того, чего не будет, что досталось уже другим...

И получасом позже после Клемина прошел из штаба дежурный адъютант Додик — Додиком звали его дамы; адъютант, как всегда, по дороге зашел на кухню, почтительно поцеловал ручку мадам Нейбар и княгине Аристовой, наклонив учтивый набриалиненный проборчик, подышал с холода нагретой плитой, кое о чем поболтал, и на кухне уже знали, что товарищ Клемин был на приеме у командующего и получил дивизию; и через минуту об этом знали во всем втором спецовском коридоре и у курьеров и внизу, вочереди за ужином; и с этим поползло еще темное, что было не только о Клемине, но о всех — что в гостинице последние дни, что все управления и штабы сдвинутся не сегодня-завтра — там из номеров, из коридоров окна ширились, росли своими провалами — в дороги, в зарубежные поля, в ночную темь...

И еще было в эту минуту: к себе в 334 номер вернулся из штаба адъютант Додик; в номере на диване сидела девушка в шинельной шубе и белом малахае, улыбнулась темными полупечальными глазами навстречу, она ждала его, и Додик подошел, поздоровался, на скуластом по-собачьи лице его, с учтиво прилизанным проборчиком, появилось жалкое, несмелое, преданное, он, не опустив ее руку, сказал — «Могу обрадовать: кажется, можно будет устроиться. Сегодня поговорим с товарищем Клеминым...»

И в номере у курьеров ели блины, горой набросанные прямо в сковороду; ели двое — один в синих бриджах и офицерском френче с иголочки, бритый, другой в черной черкеске и шапке-кубанке, и который в бриджах сказал:

— Мишка, а там тоже, ведь, не пропадем! Ну, черт с ней, муку не будем

возить, а знаешь, ахнем на Москву пудов шестьдесят изюму, а?

Черкеска помолчала, сказала:

— Из Туркестана тыща верст, засыпемся.

Бритый лихо хохотнул:

— Засыпемся?

В черкеске бросил есть блины, прошелся по комнате, заложив руки назад, думал. И бритый бросил есть блины, задвинул руки в бриджи, думал. Свистел. Какой там еще Туркестан, какие дороги через мералые пустыни и бесконечный путь поездов, в поездах мешками урюк, изюм, шептала, Москва в сладком, лихом тумане... В черкеске подошел за кровать, вынул трехрядную из футляра, сел, упал ухом на гармонью и как ветер ударил, закрутил, загикал — тоской, «Яблочком», раздольем — за дверь, в коридоры, на лестницу...

И гармонья отдалась в клеминском номере. Вестовой Митька Махновец, услышал, не выдержал, дернул всей спиной, притопнул, вывалился за дверь и зашлепал по коридору в драной шинеленке и шапчонке, лихо заломленной поперек над палыми на лоб космами. Законно играла гармонья! У курьерского номера приоткрыл потихоньку дверь, заглянул, расплылся вислыми губами — эх, хороша была черкеска и шапочка-кубанка, а «Яблочко» — как ветер в глаза, да туда — под гору, в раздолье, в дым, даже сердце ломит — не выдержал и здесь притопнул, плясом от курьерской двери вдоль коридора —

—Да ых яблочка-а-а, Закати-и-ла-ася! Да ых мамынька! Ды я влюби-илася!

И пошел шататься по коридору, по лестницам. Заглянул в еще одну полуотворенную дверь — там было, как рай — кружева, муть, занавесочки, огромная картина сияла над столом, как пламя, и все, как бывает в снах, в лиловом что ли или голубом сиянии, и спиной к Митьке сидела в прекрасном платье, шея была голая, белая, как цветок — законная была баба! После грязных, наводненных дикой сутолкой вокзалов, где негде было даже встать, после осенних ночей испытаний и тряски в штабном, но всетаки битком набитом вагоне было чудно ему глядеть, как все здесь прибрано,

светло и тепло и люди не валяются на полу. Заглянул на кухню и прыснул — там разодетые ходили и стояли около плиты, какой-то военный, вроде генерала, румяный, седоусый, тащил из духовки пироги, а чекист отвертывался и навертывал оладьи с тарелки в рот. — Житье! — подумал Митька и в нем заныло что-то — вот ногой топнуть, чтоб все оглянулись, или крикнуть — до того все здесь было чисто, спокойно, вежливо. И в коридоре, когда навстречу плыла княгиня Аристова за (1 крзб) булками в кухню, завитая, круглощекая, с надменным своим подбородком — вдруг перед ней дернул всей спиной и прошелся чечеткой:

—Да ых, ябла-ачко!—

так, что княгиня отстранилась, оскорбленно пожала плечами, оглядевшись, что политработниц близко нет, прошипела про себя:

— Хам!..

Дальше по лестнице стояли люди с котелками и с тарелками, какие-то старушки, мирные и уютные, военный в башлыке, девчонки, женщины и еще военный с подвязанной щекой — стояли в очереди за ужином, который раздавали из столовой. Митька поглядел на них сверху: стояли себе, как будто нигде больше ничего не было, как будто так и надо, чтоб тихо и покойно. И опять задело это его. А «Яблочко» глухо там где-то раздолилось, озоровало — как будто у него в нутре. Вспомнилось, проезжал через Тулу — деникинцы перли уже за Орел — там в Туле скопились тыщи народу на платформе, мешочники, пассажиры — пройти нельзя было — вспомнилось, как всех их положил зараз — и боязно чего-то стало, да вдруг выхлынуло, не стерпеть — Митька спустился пониже за поворот, воззрился наверх, на лестничное окно и вдруг визгнул:

- Товарищи! Това!.. Чтой-то это такое, а?

Его перекосило всего, губы тряслись, голова вжималась в плечи, очередь вдруг вся смолкла, застыла, в ужасе глаза метнулись вверх — где? что?

— Товарищи!..

Митька взвыл, потом вдруг согнулся в три погибели, присел на корточки, трясясь тряской, шипел задыхаясь...

- ложись... ложись... ложись...

Очередь окаменела, вцепилась в перила, старушки ахнули, полезли друг за друга. Вдруг дама с котелком, наверху, визгнула — a-a-a! — стрелой пала вниз, вцепилась Митьке в руку, тряслась, садилась тоже—a-a-a!

— Ползи!.. Ползи! — шипел Митька. И вся очередь села вдруг, поползла гуськом за ним и за дамой с котелками, с тарелками — под тем окном, не смея взглянуть, пробегая на четвереньках, — ползли.

На площадке народ глядел, шарахнулся в столовую. Митька выпрямился, кинулся вперед, с лету встал и загоготал во все горло:

— Га-га-га!..

— Негодяй! — крикнул кто-то. А очередь затормошилась, замахала руками, загудела, военный в башлыке выдвинулся, начал кричать:

— Ах, хулиган! Да ты знаешь, я тебя сейчас в особый отдел отведу!* Нахал! Ты знаешь, у меня сердце больное. Я от этой провокации умереть мог враз! Хулиган! Давай сейчас же удостоверение личности!

Митька, надув губы, сказал:

— Ишь ты!** Помру-у! А мы на фронте не помирали, когда вот такие снаряды рвались. Тебя на фронт бы, в башлыке-то! Там бы тебе был разрыв!..

Митьку кто-то больно стиснул за плечо, вел задом от лестницы, мимо парадного. Он скосился боком и осоловел: это рябой Свиридов тащил его, шипел на ухо:

^{*} Над строкой вписан вариант: Я тебя, сукин сын, в чека отправлю, хулиган, провокатор!

^{**} Над строкой вписан вариант: А у нас на фронте снаряды рвались, не разрывалось! В чеку! Самые тут саботажники стоят, в тылу. Ишь факел какой!

— Тогда, сволочь, в Туле я пожалел тебя, не расстрелял, ты долго тут еще будешь причуды свои выкидывать?

Он завел его в коридорчик, где была его комната, пальцем грозил ему.

— Ты помни, где ты, понял? Это тебе не вокзал. Если я еще... Иди в комнату, готовь ужин... я с тобой еще потом поговорю...

И в кухне — в очереди — в номерах — будто сквозь стены колючим ветром прошло — это оттуда, от того осеннего поля, от которого не уйти, где винтовки, поезда и скитания. И эта тишина и уют стен только пока — там буйно и разнузданно топчут, бегут, кричат — такие дни...

Ночью, перед ужином, пятеро приехавших собрались в комнате товарища

Свиридова, внизу.

Низко, за решеткой тек жаркий огонь камина, было полутемно, багрово от пламени; электричества еще не провели. Ало поблескивали стекла пенсне у худого, впалощекого Люде, он сидел с Клеминым на диване, палкообразный, прямой, будто голодный. И качалась в пламенных светах женщина, закутанная в шаль, приникшая застыло к спинке кресла, большие кукольные глаза глядели в пламя выпукло, будто в слезах, кукольные завитушки над глазами падали, как пенный воздух. Свиридов подошел, заботливо наклонился:

Дуся, согрелась теперь?

- Согрелась, - и женщина улыбнулась кукольно, застенчиво. Свиридов

встал посреди комнаты, заложив два пальца за борт кожанки.

— Вот не поверите, будто нежная баба, кисляйка, а знаете, товарищ Клемин, что она делала? Мы в чека в восемнадцатом году получили данные, что приехал Савинков. Кого послать? Послали ее. Не побоялась, хотя, знаете, шла на все, на (прямик?) Ну и сладила (?). Мы потом прозевали, выпустили. Дуся, помнишь Савинкова?

Женщина исподлобья хихикнула, зарделась.

— Вообще, товарищ Клемин, поработали. В вечека работа была по мне, я люблю риск, силу. Если бы меня не подсидели... Вы помните, читали, Август Иваныч, в «Известиях» мой процесс! Обвинили, что я провокатор, в 1906 году, помните, забастовки у Сименс-Гальске!

— Не помню «Известий», — раздельно каждый слог, с трудной правиль-

ностью сказал Люде.

— Так вот. Эти типы ничего не доказали, а я просто от самолюбия ушел официально. Но имею мандат. Был лучшим работником. Я вот вам покажу,

мне товарищ Дзержинский собственноручно портрет подарил.

Он порылся в чемодане, поднес к огню кабинетную фотографию Дзержинского, Клемин и Люде разобрали разгонистый почерк в углу: «Товарищу Свиридову, лучшему работнику и энергичному борцу, на память — Дзержинский».

— Сам написал. Вот, повешу портрет над столом, он у меня всегда перед глазами. Август Иванович! Я у вас там книжечки видел, в Москве достали, глянцевитая такая оболочка, не дадите ли мне штук пять, я вот тут на столике разложу, для красоты. Когда нужно вам, я принесу...

Там посмотрите, — сказал латыш.

Митька вскрывал штыком консервы в сковороду. Потом поставил сковороду в огонь, затрещало, мешал штыком—все глядели, запахло вкусно—и сразу всем после дороги захотелось есть, до жадности — Клемин встал, взял еще банки, вскрыл чем-то, вывалил в сковороду.

— Ты чего? — скосился на него Митька.

Погуще, погуще, голова.

В дверь постучали. Свиридов открыл. Там в темноте вошли, стояли двое, ве зная куда идти. Вперед на свет выступил товарищ Додик, огляделся, поклонился.

- —Я к вам, товарищ Клемин. Я дежурный адъютант, сотрудник штаба. Можно вас обеспокоить?
 - Ну-ну,— сказал Клемин, положив нога на ногу.

— Вот тут я привел вам сотрудницу, если хотите. Вы ведь формируете дивизию. Она культработница, здесь работает в наробразе, но там очень нищенски. Будет заниматься с вашими красноармейцами.

Из темноты вышла девушка в белом малахае, глаза смотрели темно и буд-

то сонно — от яркого пламени, Клемин пригласил обоих сесть.

— Ага... Ну, а какого вы... образования? Девушка глядела в огонь, певуче сказала:

- Я... видите, я, собственно, артистка, я из пластической студии в Москве, моя учительница уехала в Париж. Я имею среднее образование... знаю языки...
- Ага, языки? Август Иваныч,— повернул голову Клемин к Люде,— насчет языков это пригодится, а? А какой знаете?

Я знаю французский, английский.

— Так. Ну скажите мне, что значит: мондьяль?

Девушка усмехнулась в огонь. Клемин наклонился к ней: вблизи, с профиля миндалевидный срез глаз был в сети тонких-тонких морщинок — точно девушка эта или женщина устала и устарела бесконечно, мучительно.

И медленно выплыло лицо ее, молодая, темнодонная глазами женщина.

— Что это, экзамен? Мондьяль — мировой...

- Ara! Клемин удовлетворенно засмеялся. Август Иваныч, здорово, а? Так хорошо, товарищ... товарищ... Серафима? Хорошо, товарищ Серафима, вы к нам приходите, мы вас зачислим. Там увидим, когда грамоте учить, когда спектакль поставим.
- Я бы тоже иногда мог работать,— сказал Додик.— Я бывший офицер, но так я студент. Я читал тут лекции по искусству. Если у вас будет клуб, я прочту... и по истории общественного движения, по истории революции.
- Хорошо,— сказал Клемин.— Это мы вас используем тогда. Мы тоже послушаем, верно, товарищ Свиридов? Мы ведь народ неученый, а теперь учиться некогда.
- Меня, барышня, на красного командера подготовьте! крикнул вдруг Митька, подцепил двумя штыками сковороду, бултыхая пронес ее стремительно и брякнул об стол.— Пожалте!

Оба пришедших встали, простились, Клемин крикнул вдогонку:

— Вы, товарищ Серафима, заходите завтра-послезавтра, поговорим. За столом сели все, Митька дал деревянные ложки, сел сам сбоку, Свиридов придвинул жену, ужинали прямо со сковороды.

— Теперь я буду говорить, — сказал Клемин, кончив есть. — Дело так, товарищи. Командующий, значит, приказал мне формировать дивизию.

Дивизия пойдет в Туркестан.

В камине пылало, Митька подбросил дров. Свиридов, коренастый, низкий, широкоплечий стоял в середине комнаты, большеногая, большеголовая

фигура его была, как идол, с рукой за пазухой.

— Так вот. Вас, Август Иванович, я беру начальником штаба. Будем работать, как работали под Орлом — дружно, крепко. Вас, товарищ Свиридов, я не знаю — как по специальности, вы будете начальник связи, а пока замените начальника снабжения.

— Согласен, — буркнул Свиридов.

— Вот почему. Вы работник опытный, насчет этой штуки, где что вынюхать, достать. А снабженье сейчас нищенское, придется прямо вырывать руками. А дивизию надо ставить срочно. Вот надежда на вас, Свиридов.

Свиридов, не вынимая руки из-за пазухи, подотел.

— Товарищ Клемин! Явам скажу: все есть и в этом городе, все есть, надо только достать. Вы думаете у буржуазии, у купчин этих мало зарыто? Явам пять дивизий в одном этом городе организую. Дайте мне начать работу, увидите. Я их...

Голос его звучал хрипло.

Клемин глядел — туда, за огонь, в тьму. Еще хотелось что-то сказать,

выпирало, глаза сами смеялись — веки дрожали; он смолчал. Митька, заложив руки за спину, выступил:

- Товарищ начальник, а меня на красного командера, помните, обе-

щали?

— Работу начинать завтра же. Срок короткий. И потом, задание важное, надо спешить. Об этом еще поговорим...

Свиридов сказал:

— Насчет помещения под штаб, я нашел тут же, вон за парадным ходом. Тут раньше кинематограф был и зал, вполне разместимся. Тем более на короткое время. На дворе сараи есть пустые. Идемте оглядим помещения.

Свиридов зажег свечку, прошли через коридор, отбили приколоченную поперек планку, вошли. Было пространство тьмы, ветер дул где-то в отворенные разбитые окна, комната была огромна и пол покато вел куда-то в широкие, просторные норы <?>. Свиридов поднял свечку. Клемин оглядел тусклую темень, сказал:

— Подходит.

Там в комнате, у камина женщина убрала сковороду со стола, постелила скатерть и села на диван с ногами — холод всегда шел по низу, через открытую дверь. Женщина села, поджав ноги, закуталась в шаль, большие выпуклые глаза глядели просто, бездонно, прямо. Сидела.

И мужчины — двое в кожанках, двое в шинелях шли по пустому залу, вперед со свечой — наклоненные вперед — стены были пока, полы и помост были пока — точно сквозь стены шли в полях. Женщина сидела. Становье.

И Митька, лазивший по окнам, нашел дыру в расколотой стенке, высунул туда голову, гикнул:

У-у... воет, чо-о-о-орт!..

* * *

* Была ночь, поздний час, когда по всем четырем этажам люди ложились в постели, на койки, и морями, пучинами забытья топила ночь, и постели, как корабли, плавно плывущие и уходящие в безгранные дымы образов, в сны...

В этот час поля и равнины, нелюдимые, если о них вспомнить, — где-то безмерно холодны, огромны, непреодолимы и страшны, как смерть — так они кажутся лежащему в постели, под одеялом с головой; ты лежишь, слышишь шаги в коридоре— это идет тот, кто не спит, тебе неуютно, мучительно за него, что не может вот так вытянуться, сомкнуть натруженных сладостных век — но и тебе наказано завтра-послезавтра в поле, в ревущие октябрем и ветром и морозом дороги, в мерзлоту, в звезды, в бездомное — и тебе, и тебе идти...

В этот час — там, по госпиталям, баракам, вокзальным приемным—поднимается температура у тифозных, возвратников и сыпняков — взрывами горячих, огненных красок мятутся, бегут, вихрятся сны. Там поднимается температура: и сквозь огненную, цветную дрожь (это горит кровь, зараженная во вшивом поезде, на мерзлом бездомном поле...) — яркое и мучительное движение улиц, людей и мчанье поездов, и нега до самого сердца, лица горят как электрические ламиы и так же горят очертания зданий — это свет из страны, чудовищной, недостижимой, прекраснейшей, лыкшейся незримо на всю жизнь — горят окна госпиталей, там мечутся, кричат, хрипят в огненном сне...

В поздний час...

Во всех четырех этажах — в озере насквозь просиянных тусклым матовым свечением коридоров, этажей, лестниц — плавно, мутно уплывают постели-корабли, спят люди, пришедшие с сотни дорог — это дороги сотен

^{*} Сверху помета автора: Лейтмотив: ночью грезятся страны — и все восходит больте и больте — crescendo! Ночь! (перед последним абзацем).

встают клочьями, цветным дымом образов, тоски, мутнейших воспоминаний — скамейка кадетского корпуса, и сады в сирени и каменный сырой пол под узким окном с решеткой, и та невероятная, нежнейшая, обнявшая когдато — или не было ее никогда? — и бесконечно льющийся мир в окна вагона, мир людей, солнца, счастья, — и тусклое окно с гармоникой, и голодные, беспокойные дни, толкающие и сейчас бежать, искать пищи, в колючий ветер, в дичь... И под столами, под диванами — мешки муки, крупы, сала — очертанный кругом мир сытости, беспечности, обеспеченности — и с этих постелей — под уклоны, под скаты еще путь туда — за идущими армиями $\langle 1 \ \mu p s \rangle \rangle$ иных городов, базаров, кухонь, — там еще смутно и обещанно сладко — будто ближе к какой-то невозможной, небывалой, полной озарения стране — есть ли она на земле?

Не та ли земля утеряна годы назад — с блеском улиц, витрин, ломящихся от яств, театров, женщин (...)*, смычков?

Курьер в синих бриджах выходит из своей комнаты осторожно, на цыпочках, потому что товарищ, тот — в черкеске, спит, тихо идет по коридору, стучится в номер мадам Нейбар. Коридор пуст, он матово-тускло желт, пол светится, как вода — вдаль, в бездну сумерек. Дверь приоткрывает ся чуть-чуть, в ней полуголое плечо, голая рука из лиловатых сумерек, из кружевных сумерек — рай, мадам Нейбар — из тех, когда-то недоступных высот, зеркальных окон особняка, — она через окно таксомотора видела его — в Сокольниках шел в смазных сапогах, в черной тужурке, ходил заниматься к нотариусу, посыльным? У мадам Нейбар муж ответственный дежурный, в (1 нрэб) фронта, его не будет всю ночь. — «Простите... я вас беспокою. Я приехал из Москвы вчера, забыл вам передать, что просили. Вот духи «Четырех королей»... Насилу откопал!» — «Б-благодарю вас... Как чудно пахнут, это мои любимые... Вы из Москвы? Господи, точно кусочек Москвы. Деньги... муж сегодня дежурит, деньги у него, завтра я отдам, большое, большое спасибо».— Она закидывает голову — губы вырезаны пухло, твердо, молодо, розово, глаза оглядывают его всего близко — статный, в синих бриджах, во френче, с пробором — как у того, адъютанта. — «Ну, какие это деньги, для нас это одна копейка» — он глядит в губы, за ними за улыбкой их — женской, как у всех, чуть-чуть выходит белый просвет зубов, они полуоткрыты — он вдруг тискает голое плечо ее, всовывает голову в дверь, целует холодноватое, упругое и гаснут глаза. Нет, нет, потом, она медленно отклоняется, тает, медленно скрывает всё дверь - и он идет, пошатываясь, краем задев чудесное, реющее — в снах будет комната в лиловом дыму, женщина придет, полюбит, ляжет...

Адъютант Додик идет провожать девушку в шубе, Серафиму. Он берет ее под руку в коридоре, здесь, на свету глядит в лицо — в скуластых щеках его тоска, мление. В номере просыпается генерал с женою, они спят на одной постели, и он вспоминает что-то такое забытое, овеивающее ночь полнотой, радостью — это пирог, там, на нижней полке шкафа. Он встает потихоньку, в туфлях шествует, достает пирог, просыпаются генеральша и обе дочери, старшая $\langle ? \rangle$ не больше 15 лет, обе учились было в институте, но $\langle 1 \ \mu \rho \beta \delta \rangle$ и они все поднимаются, глядят, привстают. Генерал дает им по куску, остальное себе с генеральшей за ширму, садится, ест прямо с колен, генеральша просит: «Вова, передай сливочное» — он с окна несет сливочное, генеральша еще мажет под корочкой, генерал ест, с колен снимает крошки и ест — пирог мягкий, отопревший, в мясе чувствуется масло, настоящее коровье масло, начинка просочена застывшим масляным настоем — это не пирог — стены, и шкаф, и комнату, и час — будто просветило, блаженно их брать, глотать, вдыхать, насыщать — и теплело там, за окном, в темном, куда еще ехать, идти, - в неведомое.

За стенами, на улице — октябрьская ночь, ветер, пустырь, в ямах асфальт обледенелый, двое спотыкаются, идут в безлюдное. Через два квартала

^{*} Отточие в скобках поставлено автором.

Серафима останавливается и начинает прощаться.— Нет, дальше не провожайте, нет, нет! — Она настойчива, почему-то суха, это больно где-то... Додик знал, что нужно идти еще шесть людных кварталов, потом налево, мимо Волги, осенней, темной, неведомой, потом через площадь — уже почти на окраине — позже переулком и еще переулком и там в слободе, где за ветлами уже поле — там... Все-таки лучше в постель — это счастье тела, сейчас же, вместо того, чтобы идти, — лечь, сжаться, падать, тосковать о Серафиме. Он простился. И только что отопіла в темноту — тоска, любовь пронзили темноту, кусты, дом, под которым стоял — они шли глухо, в ночь, в сердце, в тело. Он пошел — улица была безлюдна. Какие-то огромные окна были освещены. Если забыться на миг — это витрины тех — тогда улиц, магазинов, это из театра—в мирную постель, за книгу...Он заглянул. За тусклым окном магазина, на полу $\langle 1 \ \mu \rho \beta \delta \rangle$ целая груда; он разглядел,— это солдаты, вповалку друг на друге, поперек, на лавках, там по краям стен и еще в дверях, — полусидя — и в следующем окне еще — и кто-то у тусклой лампы снял рубашку, голый, тряс ее над спящим— и все они были пронизаны Серафимой, тоской. Это то, что шло - если люди не могли сладить и набились так, что сделает он, маленький, слабый, -- они раздавят и огни, о которых мечтал, и всю его сказку — и там еще были поля, в которые ехать, дни, движения — они были пронизаны Серафимой, ужасом, тоской.

Ночь!..

Ночью проснулся Клемин. Он почувствовал, что кто-то другой не спит, глядит глазами в тьму. Проснулся — точно оторвалось что-то от глаз, от век — отнеслось смутным потоком, что? Будто опять над головами людей — там, над вокзалом что ли, сплошь усыпанной телами платформой — рвал руками, кричал — лицо жгло, двигало(сь), горело — дико звал — как будто крик ночью, в комнате звучал. Мондьяль... Он поднялся, засветил спичку.

— Август Иваныч, не спишь?

Тот лежал на диване, длинно, острые колени выпирали из-под одеяла. Он назвал его на ты, сам не чувствуя— когда на ты, когда на вы.

- Август Иваныч, я сейчас к вам...

Он накинул шинель, подсел.

— Я не сказал давеча... Помните, что я вам говорил. Командующий сказал, что все в силе. Мы должны ударить по блокаде. Наша дивизия будет формироваться с таким планом.

Люде приподнялся на локте. Клемин глядел на него: тощий, худой — чужой, но почему его не надо спрашивать: почему ты не у тех, а у нас, ведь

те ближе?

— Это согла-сно большой стра-те-гии. Э-то пра-вильно...

Клемин потянул его за руку.

— Август Иваныч, мне не спится, вам тоже. Давайте-ка посмотрим пока что карты, которые в Москве взяли. Покажи ты мне место это.

Люде методично оделся, раскрыл чемодан, взял кипу листов.

А прямо на пол, на пол, показал Клемин.

Он достал лампу, опустил на пол, на листы, кое-как сложенные рядом, оба встали на колени, Люде показывал взявшимся откуда-то циркулем.

- Вот этот пункт база. Отсюда можно $\langle 2 \mu ps \delta \rangle$ на запад. Здесь важно снабжение, от снабжения зависит все.
 - Август Иваныч, ты покажи мне, где она?

Люде прошелся циркулем, ткнул:

— Это?

Клемин глядел: коричневые изрытые валы, отроги, пятна. Это она, она — было странно, что ее можно смерить циркулем... Страна была чудесной, страшной, — и от (нее) неслась ночь, мир.

ΦΡΑΓΜΕΗΤ 2>

TT

Под штаб дивизии отвели реквизированный белоколонный особняк на Дворянской.

Нужно было еще обжить, заполнить мерзлую выморочную пустоту комнат. Обрывками сора, догнивающего по углам — брошенного жившими здесь когда-то, невыцветшими квадратами и овалами на слинявших обоях, к которым льнули раньше шелковые, улыбчатые, качалковые — миражный мир сдутого, как дым — они глядели из-за черты погребенного. Они были упорны в своей одичалой пустоте.

Но для пришедших не было пустоты.

Будто сразу принесли с собой все шумы дней, которые за стенами; дыханье и спешку множеств; в комнаты легло семя надвигающегося кипения; поездом летело на оцепенелую тишину.

И сразу — на другой день — крикнул телефон через пустые анфилады. Из начдивской — из угловой, единственной жилой комнаты, где спали все трое, прошлепал Митька-Махновец со сволочной и наглой усмешкой на вислых губах, рванул разухабисто трубку —

— Алло! ну! штаб дивизии!..

Звонили от начснабфронта, от $\langle 1 \ npsb \rangle$, от особотдела, из штафронта, из несущихся поездов, прокуренных, затоптанных сапогами комнат — не комнат, просто из временного жилья — камней и крыш. Там присесть на минуту, оглядеть эти вороха, горбы движущегося — по рельсам, по колеям, по земле, которая за стенами $\langle 2 \ npsb \rangle$ — через комнаты только пройти, миновать стены невидящими, устремленными в дальнее, в нужные пространства — глазами.

— Алло! штаб дивизии!..*

И дыханье будущего, дыханье завтра нависало над пустотой **; ттынькали стальными клевками ундервуды, как задыхающийся пульс спешащих; в ливне бумаг метались из комнаты в комнату,— доклады, подписи, печати, оперативные приказы, обреченные на смерть — каждый из мечущихся нес на себе кусочек распределенной воли, сплавляющей всех воли — упрямо сгибающей и по-своему направляющей там, в дальнем, ходы мутно клубящихся, движущихся в разное величин; это была воля еще более огромнейшего, чем собранное на дорогах, землях, этапных пунктах — поверх бумаг, машинок, телефонных звонков, стен, — глядевшие туда деловые, занятые глаза на миг вдруг застилало пленкой безумия, ослепления: так начинался ослепительный поход в ту страну.

Но, чтобы было все, еще надо было сделать много, много. Уже тысячи рук, не зная, работали, двигали. Клемину хотелось, чтобы еще быстрее, везде чудились заминки, недостачи. Между тем — все могло быть, все мож-

но было достать, сделать, он говорил Люде —

— Эх, Август Иваныч, поскорее бы Свиридов приезжал. Вы не знаете, он на эти дела такой человечек! Думаете, мало еще спрятано? А он найдет, скрозь землю найдет. Поверьте, когда приедет, через неделю все будет.

Так начинался поход.

В угловой, в начдивской жили все трое, Митька Махновец с утра до вечера нажаривал камин, жарил картошку на углях, вместе все ели; ночью, натопив до одурения, ложился тут же у решетки на шинелишке — и тепло печки уходило в поддверные щели — в промерзлые, темные ночные прорвы комнат.

И в угловой, после дня разъездов, писания требований и докладов, хлопот о машинках, канцпринадлежностях, комендантской команде, шинелях, сапотах, продовольствии для будущих едоков — ночью, в выстывающей

^{*} Здесь автором сделана помета: Совокупить с последующим.

^{**} Абзац начинается пометой автора: Совокупить с предыдущим.

жомнате, начдив и Люде накидывали шинели, подвигались оба к столу в сны.

Стол был единственный; сковорода с доеденной картошкой мешала, ее отодвигали. Люде раскладывал на столе карту — это была карта той страны, карта снов. Пути излучивались, змеились безумными, притягивающими волосками. Клемин, зажав зябнущие пальцы в коленях, покачиваясь, глядел, как работал Люде: тот метко обегал глазами, прицеливался, циркулем мерил — по карте; для него страна была на земле; ей было название; циркулем можно было измерить путь в сны.

... не была, должна, должна быть...

Оттого, что вымеривал бред, Клемин глядел, пьянея:

— Да, вымеряем, все вымеряем, пройдем...

Август Иванович Люде, латыш, человек без родины, капитан генерального штаба: только ли стратегический путь к прорыву мировой блокады вымеривал циркулем?..*

И этого, другого — ставшего как будто другом, — и его манит (?) ли то,

что поверх стен, знает ли, что за путь меряет, верит ли?..

Спросить бы —

— Август Иваныч, ты... почему ты с нами? Почему не с теми, с твоими — в тех комнатах, в тех всегдашних вечерах? Смог ли и ты поверить так? Или...

Но путь был — разве карта была такая? — Путь был велик и еще не начертан — страна была еще неизведана, была — в снах и все же она была на земле — и у нее было названье **. Путь к ней — путь шел не землей, может быть, всеми теми вехами, когда (1 нрзб) ползли у подножий, взбунченным миллионноголовьем, исшрапнеленной, изгрызенной землей, ночами голодных и морозных буранов, тифозных смертей, расстрелами—и даже через холодный, неуютный наробраз.

В эти самые дни, когда формировался штаб оккупационной, в губнаробразе шло заседание по поводу катастрофического положения школ. В школах — заиндевелые стены, незастекленные окна, дует, в школах нет бумаги, перьев, нет учебников. Товарищ наробраз! Разве революция пришла для того, чтобы школы стали мерзостью запустения? И в школах стоят отряды, гадят под парты, штыками вспарывают рояли, роты бренькают по роялям жулаками — и жизнь преподавателя — в хвосте на морозе, с карточками — за парой пролетарских ботинок, за аршином мадеполама — без жалованья, без пайка — и в губнаробразе: осторожней садиться на стулья: ползают вши, тиф...

- Товарищи! заведующий наробразом кричит.
- Товарищи! От вас, от вас самих зависит все. Если мы захотим... если мы захотим, мы сделаем!..
 - А где учебники? А дрова? А перья, бумага?..
 - А жалованье?

Заведующий — по рыжему плису фуражки он студент коммерческого; Песталоции, Пирогов... при чем тут коммерческий этот, безусый крикун? — заведующий бел, как сахар, туберкулетик, просто больной, обезумевший мальчик — преподаватели слушают его с болью за него, за его легкие, и со влобой, и с усмешкой отчаяния —

— Товарищи! Все зависит... — он брызжет слюной, сам — как сахар, глаза над головами, сквозь стены, слепые на все, что рядом, — в какое-то дальнее, обезумливающее... — Товарищи, не в старой зубрежке дело! Ведь у нас единая, трудовая, а вы — учебники! Зачем учебники? Трудовые про-

^{*} Сбоку, в скобках автором сделана помета: Кончить — ночью, засыпаньем, педяным воздухом во рту... общей ночью наступления.

^{**} На странице много знаков перестановок текста, поэтому трудно определить место следующей фразы: И одновременно с формированием намечался путь еще не измеримый циркулем; он докипал из тьмы былых дней: в путанном засыпанье он сливался из заседаний, бить, детства...

цессы — для ребенка — вот, по кубикам, по приборам дети лучше научат ся, чем по книжкам, вы их научите труду.

А где приборы, пособия? Дайте...

— Товарищи! Что — дайте? У нас ничего нет, так — сделаем. Вот... вот перочинным ножом сделаем, сами. Товарищи, если надо — перочинным ножом —

(хихикают горько) — а перочинные где? Есть?

— Товарищи, бумаги нет, книг нет — на кирпичах будем писать. Товарищи, вы не смейтесь, я говорю серьезно: нет книг, напишем на кирпичах, мы не будем опускать рук, вот как мы сделаем...

Прожектерство!.. Слова!..

Легкие сгорели — их нет; глаз нет — они слепы, за пленкой; они видят и не видят — что хвосты, мороз, голод, драное пальто и синее в дырах тело; что школы — безлюдны, мерзнут. Легкие сгорели — он умрет завтра. Нет, будет жить — пока верит, гореть — вместо легких движет, чистит кровь сухой, бездымный пламень.

— А вы знаете, товарищи, что мы сделаем с детьми? Мы детей — всех детей соберем вместе — одних детей, мы построим дом со стеклянным куполом вместо крыши, это будет огромный, товарищи, дом — для детей, нам инженеры уже начертили и вымерили все. И там взрослые будут приходить и учить их труду. Дети будут учиться труду, но это будет не только труд, но и радость, танцы, музыка: дети будут не только учиться танцевать, как вот на наших этих танцульках, они будут красиво двигаться в обыденной жизни, вся жизнь с детства будет пропитана красотой.

Пойдут, сгорбившись, в нежить нетопленных комнат... какие и где эти купола? — лишь голодный ветер, тифозная вошь по скамейкам, мадеполам — после которого крупозное воспаление — лишь овсяной паек и впереди годы, годы — такого ли лютого житья? Забыть об этом, скукожиться, лучше вот этой дохлой собакой под забором.— Это если не верить, если видеть одно и не видеть: что вымериваются неизмеримые пути, что за голодом, за брешами домов, школ, заборов встают дымные, снящиеся рубежи, купола страны —

Путь.

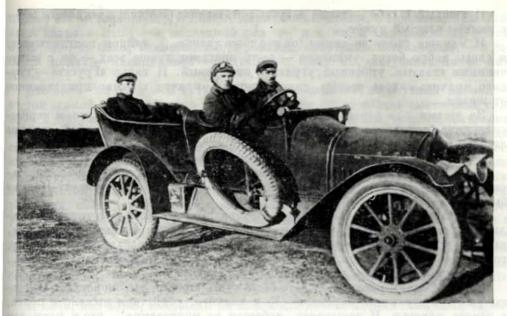
И на том же пути — знойное и страшное лето. Это ляскали чугунные зубы под Орлом; обжадовавшие — кровяными глазами, пьяными ртами — сквозь пули перли, орали — на Москву! — и армии раздались, армий не было — паническими табунами метались люди, бежали в тылы, в степи, на пули; в прорыв тогда — в туль (скую), в тамбовскую, в воронежскую пахотную типь — в соломенные поселки, в полустанки сонные ворвался конный корпус Мамонтова.

И — земля, опутанная проволокой, дымящиеся, с проваленными глазами вокзалы, скрюченные динамитом рельсы, мосты; такая смерть — что выкатыв (аются) глаза и хрустит горло; ветлы тамбовские и воронежские, над озерком — дико, люто, как железо; вот — гикнет черкесской лавой из-за ветел, из-за полустанка, дулами в глаза —

- выходи!

— Жиды, коммунисты, советские работники кто? выходи!...

В тамбовском уезде, в мазанке жил телеграфист Ваня Клемин — брат, с мамашей. Почтовая контора через дорогу — через пыль, в которой клохчут куры; за конторой ветлы, речка, тамбовская пахотная тишь. И мамаша, старая, заботливая, единственная — готовит обед, пока Ваня в конторе; жизнь — это контора через пыльную дорогу, мамаша с обедом, задние окомечки в лужайку, в вечернюю зарю, на заре гармонья, кликуший на сердце зыв... И есть у Вани Клемина новая пара — с синим кантом и брюки-диагональ; есть воротнички «Монополь», их не стирают, а только моют в воде или оботрут мокрым полотенцем — и пара и воротнички лежат в сундучке на всякий случай. И есть брат — Семен, коммунист, комиссар: брат пропал без вести — а где?



А. Г. МАЛЫШКИН (ПЕРВЫЙ СЛЕВА) ПОСЛЕ ВЗЯТИЯ ПЕРЕКОПА Фотография. Каховка, 1920 Институт мировой литературы им. А. М. Горького, Москва

— Мамашенька (шопотом, за ужином) — ты говори, что пропал без вести. Белые придут, знаешь, за это по головке не погладят. Черт его дернул. Ты смотри, на язык-то... Без вести пропал, мол, и все...

А спросят, Ваня, узнают?
Не наш, мол... Другой.

И однажды вечером — в уездных, в тамбовских сумерках, под летней звездой зажжется огнями хибарка, на столе белая скатерть и самогон, и орехи, и леденцы, и гармонист, уронив кудрявую голову на меха, ударит вальс «Грусть». В хибарке помчат многолюдьем, пара за парой, потно, кружительно — барышни с уезда — в розовом, в белом, в голубом, телеграфист Ваня Клемин, помощник от медника, кондуктор с полустанка, конторщик со склада — и все в диагоналевых, в натяжку, в воротничках «Монополь»—мчатся, топают по скрипучим половицам вальс «Грусть». ..

И он прекрасен, — в этих гнусных, как рыбьи глаза, окнах — вальс

«Грусть».

Вчерашние и завтрашние дни глядят в гнусные окна. И осенью они заслезятся, и будут вечера, когда ноги затёпают по грязи, в уездных улицах безлюдно, сыро, воют собаки, спать ложиться — в десять — так до могилы, всю жизнь. Гремит гармонья, ноги скачущих и Ваня Клемин с розовой — той

самой, которая вчера:

— Маманька, там вон за кофту три тыщи просют, купи, штоль, что ты меня страмишь? — и губы ее дышат — летят звездой, вальсом «Грусть» — Ваня Клемин полон миром, прекрасен, грустен; и та в голубом («тетенька, энтот-то, сволошной, опять у нее ночевал, а она тоже... фря!..») — в круженье, в туман, в тоску падает за ней помощник от медника, Семка Булычев — и те еще, и те — в запахе едком пудры, духов, девьего пота, и руки девушек — от белья грубы, растерты, красны — в вальсе «Грусть» все прекрасны; и сквозь вальс «Грусть» — вчерашним, завтрашним дням — от них не уйти— необойдимая тоска. И не весельем — стывом в сердце, кликушьим зывом кричит, кричит вальс «Грусть», прекрасный вальс...*

^{*} Здесь помета автора: Тут близко от тоски, невыносимой тоски, если красота — <1 ирзб>, оттого и прекрасно.

И каждый в себе — дыша в губы той, в глаза блеские; прекрасное всес камнем каждый в себе...

И мамаша стоит за окном (от нее тоже далеко...), тайком подглядывает; и слезы добро бегут, умиленно — ее-то красавец лучше всех — он с выпученными глазами, упоенный, угрявый, конфузный. И вальс «Грусть» — гнусаво кричит: сквозь звезды, сквозь ветер — кричит гнусаво придавленное от жизни...

За ржами, за дорогами, уже невдалеке хлынула тогда гиком черкесская лава, поволокла путаную проволоку по земле, дым за собой, шопоты летели, ползли, как рожь...

— Кто коммунисты, жиды и советские работники? выходи!

— Мамаша, мамаша, вот оно... Эти черти заставили всех в союз записаться. Теперь вот выходит и я — советский работник. А если придут? Как же быть-то, мамаша?..

И услышали: задыхало гулом за перевалами: это шли — и горла хрустели, выкатывались глаза, нагоняли — через поля, речки, ветлы — удушливые, цепкие руки. И понемногу кто ждал — бежали *, бросали дома, работу; говорили — всех, говорили — не разбирают, а вот этих особенно, у кого...

— Мамаша, они же все знают, у них списки...

Бежал с одним узелком — лето было сухо, знойно, высокорослы и страшны ржи, укрывающие перевалы <?> и конного, убийством пыхало с полей, с ясного полетья. И задыхаясь, добежал до полустанка — это к ночи; там у поезда шла рвачка — за жизнь, за то, чтоб уйти, зубами, кулаком, телом впивались в вагонные доски — как гвозди; с платформы — из мешочных груд, там лежали равнодушные, завистливые, потерявшиеся, встал один, замотал злобно головой Ване:

— ага... бегёте... Дошло и до вас, нацаревались!..

— и холонуло — льдом, концом — это было обреченье на смерть, он первый покажет. Уйти, уйти. И в головах, в телах ужас рванулся к вагону и вот — черной пастью уже дверь; а мамаша влиплась сзади, старческие худенькие пальцы цепко держат его, а там держат мамашу — она слабенькая, не пробраться — и он кидался, падал вперед — и мамашей как камнем стасовал — на платформу, в оставленное здесь, в те узнавшие его глаза, в приближающееся. И загудел поездок. Потом, обезумееший, он рванул руку, пихнул в грудь —

— Да, мм-амма... П-пусти... ты... чего... ттебе... сделают... ппусти!.. И оторвало от черной ночи, от платформы, неслось, скакало в ночь — без гудков, без огней — от смерти; в кустах — бежаеших мимо потом — чудились — все они — удушливые, стерегущие, — скачут... И вдруг — стывом стукнул, стал поезд... Нет —

— Путь разобран, близко огни. Пути дальше нет. Валяй целиной, ребя-

та, там конница не пройдет...

Кричали — от них бежать.

Была ночь, когда, задыхаясь, брел каким-то проселком, потом межами; от других отстал — скоро не межет, больное у меня сердце... И где-то в меже, в полынной и сухой, засыпавшей горьким песком рот и глаза — закатилось все, как глаза: дом, годы пыльнодорежных дней, вещи — ничтожеством закатились — $\langle 1 \ \mu p \varepsilon \delta \rangle$ — в контору, вальс «Грусть» — и мимо прокатились в убийстве, в изуродованном этом мире полей, ночей, ляскающих кусачих поездов, глаз убийных — тиснулось сердце той удушливой лапой.

Подняли Ваню, он два дня отлеживался в овине где-то, на сухой, колкой земле: была лужайка через двери заплетенного овина, церковка, ветлы, село — уездное, как десятки, как сотни (лет) назад. И когда схватило насмерть — изнутри водой горячей под горло — встал на колени: тогда вкось

^{*} Сверху, над строкой автором вписано: табуны человеч сские у бежали — без укавания места вставки.

падало все — церковка, луг, избы, мир... тогда, хрипя, с задавленными глазами валился Ваня — в последний раз — и мама, и Семен вошли, легли на сердце, на боль, единственные, пронзили смертельной жалостью, — к себе, к кому? — наклонились — задавленно пили их, истускневали в них глаза...

Это все — на пути — и путь шел из смутных полей, из смутных времен — от той самой зари: ... давно-давно, когда еще будто сквозь смеженные глаза — в детские глаза будто цветной паутиной опутанный, мглами, сказками шел мир: была ночь — тогда отец, Клемин Антон Иваныч, казначейский сторож — в летнюю ночь, под воскресенье, садился с ребятишками на плоскодонку, на той самой ветляной речушке, брали удочки — плыли на утреннюю збрю, в камыши — в луга. Ребята, присмирев, гребли: грозен был папаша, Антон Иваныч: вечером, под воскресенье, поили его купцы в трактире — для смеху, заставляли рассказывать про Плевну, Антон Иваныч рассказывал, чудил, стрелял из палки, шел на приступ, купцы гоготали и мазали синькой — оплеванный, в гоготе, ковылял Антон Иваныч домой; ребятишки совались в углы, как мыши; и если не сек, то хоть мимоходом костыльнет щиколотками по стриженным, лишайным шарикам — «д-дармоеды, безотцовщина ч-чортова...» — мотались шарики, притихнув, жались в углы, на цыпочках...

В ночь, под зорю, выезжали на плоскодонке — и летняя тьма была черна, тепла и огромна, и над землей черные, огромные и страшные боги жили, держали, властвовали тьмой: и папаша — безлицый, темный сидел на корме, скрипел рулем; папаша тихо отходил, по голосу слышали ребятишки, поварчивал:

— Ванька, Семка — налегайте... Ветру мне, ветру... ох, духота... Больное, духотное — от Плевны, от водки сердце было у папаши.

И ребята, притихнув, гребли, жмясь друг к другу,— квеленькие, со стрижеными лишайными шариками, припугнутые: какой еще там не знай будет папаша вдруг! И яснели земли, воды — боги светлели в светлую, блистательную, бледную зелень — огромную, как весь свет — до края земли — это было небо, зоря; тогда видели — бритый, седой, из-под седых пучкастых бровей — водяными пуговяшками глядел в збрю, они были слепы, будто заспанны, воспаленны. И плоскодонка шла со струйкою ледяною, шла — в затон — к берегам; въезжала в затон — он шел далеко — в камыши, в тесень зелени, птиц, звенящих по заре, розовых вод и облаков, в какое-то отдаленное от мира небывалое волшебство; а ребята все гребли — весла вязли в камышах — но все дальше, дальше лезла плоскодонка — и вот уже некуда, дичь, страна неведомая, заря, свет аловатый; и там папаша вынимал мерзавчик, стукнув ладонью по донышку, выпивал его, рвал на себе ворот, рыдающим голосом хрипел:

— Ребята... место-то, лоно-то какое... Индия, а! Ванятка, Семка, Индия!.. И глаза круглели по-птичьи, влажнились — свет был тяжел — давил их свет: в свет глядели, бились, как слепые. Это оттого — от бессилия пробить свет — слезы, пьяные, раздавленные —

Индия, a?..

И у Семки дрожало — лучше бы папаша костыльнул костяшками по голове — ознобом ползла та тоска — та, что камнем с тех утр — на все зори, на все сиянья, на все радости — на жизнь: страшны, тяжелы, как камень: страшны глаза задавленных, увидевших свет...

Из той темени, из той зари начинался путь...

И он шел по картам — тонкими змеящимися волосками; он был и страна та была: ее попирали ногами и в этот час, кто-то шел и чувствовал, как твердо отдавалась в подошвы — земля. Это было потому, что товарищ Люде, упорно думая, вымеривал, высчитывал, расчеркивал карандашом, мерил циркулем: он рассчитывал заранее возможные коммуникационные линии похода — проходимость местности — дорог — это было на земле.

И что оно было — Клемин чуял по-своему: в голодных ветрах — ва стенами были улицы и там еще поля, насыпи рельс; в полях — мелось — ходило — были темные, мутные ходы масс; уже шли, подкатывали на Киев, катили — в ледяных степях, тайгах — на Омск; из ветров, морозов, шаг за шагом израненная, истоптанная земля вставала ново и преображенно — это та — которую измеряли — и поход, его поход — уже должен быль быть, должен был —

Он глядел в лицо Люде: впалощекое, серое от небритой щетины, стальные

глазки, ежиком стриженная голова.

- Как он? Что для него там? Почему и он?

Ибо идти в ту страну — значит, идти поверив, охватившись всем этим — до дна, до последней мысли — горя — он помнил Люде под Орлом, безумно кинувшего поезд на броневики, там смеющегося — сурово — холодно под пулями: он его уважал. И его сдержанность и его работа ночью — будто в нем горело тоже, кипело что-то свое.

Но только говорил:

— И черт ее знает, Август Иваныч, какой саботаж: ни одной машинки еще не достал. Каждую мелочь зубами приходится рвать. Кому не нужны — там есть. А ведь тут тоже дело! — Эх —

— Вот приедет Свиридов: сдам я ему всю эту хозчасть, хлопоты. Этот выроет из земли. Работяга. Легче и вам будет тогда насчет формирования —

а без того тоже нельзя...

Гасили электричество. Ложились одетые — одевались шинелями; ветер дул за окнами — и в комнатах ухало, неслось воздухом со стенанием: они жили, мрак помнил... И если бы видел Клемин: товарищ Люде лежал с открытыми глазами: карта была безгранна, обрастая горами, песками, далью — пути были — как кипящее каменное сердце — это, что видел — было бы ответом:

— Человек без родины — с теми, кто оторвался от всех материков*.

— Сердце воина — как эти ветры, летящие скопом за стенами — в пу-

стоту — пьянеет, когла земли открыты в туманах.

— И разве в туманах — на тех землях — не сойдутся их пути: идущих войнами — одних авантюрно, в пьяном дыму пространств, бездомных, и с ними — вас, апостолов. Он — идет с теми, кто выражает человечество ищущее, идущее смутной ощупью.

И разве не будут цеть о всех — и об этих?

И засыпали. И ветры шумели теми путями, которыми уже шли. И в ветре, в пути были глаза задавленных, прорвавшихся к свету, к куполам, прекрасны и страшны.

* * *

** В такую ночь — уже начинало заметеливать — приехал четвертый: чекист Свиридов. Ночью втопал в дверь, сам нашел выключатель, осветил — пока вставали те, растолкал Митьку: четыреугольный, низкий, рябой, закаменевший, в кожаном на меху пиджаке и кубанке — голос был сипл и резок.

- Или-ка, братишка, помоги донести там...

Всего внесли три узла — и из самого большого, который тотчас раскутал Свиридов бережно, выглянули большие голубые глаза женщины: розоволицей, конфузливой, кукольной. Свиридов сказал глухо, отведя к ней ладонь:

- Жена.

* Слева сбоку помета автора: М.б. это друг. глава?

^{**} Сверху пометы автора: Комнаты стали наполняться. Пришла женщина и разговор тянется. Свиридов.

И веки его были тяжелы — пали на глаза хмуро: он хмуро — ежась, но зорко смотрел, как здоровались с женой. И непримиримый ни с чем Митька смотрел на него полуудивленно, развесив губы, притихнул; Митька сам накидал дров, развел огонь в камине.

Приезжему надо было отвести комнату. Вышли — в те пустые, темные

анфилады; Люде шел впереди со свечой.

Клемин был рад. Комнаты наполнялись — новый шум, новые люди. Как будто не один приехал — много. Он не удержался от нахлынувшего, качнулся к Свиридову:

— Товарищ Свиридов, а знаешь: тебе работы много будет. Наша дивизия

пойдет не только в Туркестан. У нее особое задание...

Он схватил его под руку, зашептал страстно:

— Мы бросим искру в пороховой погреб, мы ударим по Антанте. Нам надо прорвать мировую блокаду. А мировая революция — разве не может пойти с востока?

Пламя в камине пылало костром. Это было среди ночи: комнаты были разбужены среди снов, вырваны из них. Все равно — им быть потоптанными, пройденными мимоходом, их не было. Они двигались, все двигалось в пространство. И женщина кукольными глазами — расширенно, онемело глядела на огонь, послушно сидя, с поджатыми под себя ногами: так сидели жены — на кочевьях — перед дальним походом.

$\langle \Phi PA\Gamma MEHT 3 \rangle$

Из-за Волги — с калмыцких, башкирских, пугачевских земель идет пурга. Зима. За пологом мятущимся ее, в мутно-темных безднах — там фронты где-то, шатаются плечом к плечу, стерегут земли за собой, ночью и днем прут... Хлопьями летит пурга, темнеет вечер, из города, — из высоких этажей — Заволжье уж не Заволжье, а темная, представшая, новая земля, пройти по ней, прочистить мутево; в мутных мятущихся высотах, в ливне косом хлопьев, вечером * зажигаются огни во всех четырех — до верху и темнеет и стирается красноармеец, подающий руку рабочему. Гостиница «Красная Армия» светит огнями, живет; огни нацелены — пройти через город, в безбрежные земли, в муть, в гиблое и пурговое; огни в городе — только гости...

Неужто и этот вечер есть: где-то дровни по поляне бегут, поскрипывают, и свистит в тулупе безмятежно, как в тысяча девятьсот десятом или девятом. А в уезде — в горнице вымыты полы, лампады горят, не колышась, над чистыми половицами и на кухне доспевает самовар. Вечер. Зима. Хлопнут спросонок мирной дверью...

Так в тысяча девятьсот десятом. Россия.

В штадиве в этот час, как в подвале. Только одна лампа горит — над столом тов. Люде, наштадива, освещая эстонское сухое, с красным носиком, с колючими под пенсне белесыми глазками — думают, как режут, холодно и пристально. Ворох бумаг — подписать. Подпись: Партначдив... (будет — «Клемин»), под ней, наштадив — «генерального штаба Люде». Искоса бежит свет по глянцевитой, хрусткой сорокаверстке рядом, на стене; высоты ее — там Архангельск, англичане, Белое море, Карелия — в тьме; там тоже пурга и свои глядящие и думающие вот так окна и... Красным, незарубцованным, кровоточащим сечет глаза — фронт; он дугой, брюхом книзу. Через мутево, дороги, долины, через все, что было Россией, — теперь земля без концов, окруженная и взвихренная...

Отскрипели дровни, отшумел самовар в девятьсот десятом. Была Россия... Человек сидит вечером, пишет. За окнами — где это? на какие тысячи верст? — какие-то шевеления, переходы, оплотнения мутных масс, человечьих скопов, кипучей розни; где-то садятся на поезда; пишут в канцеля-

^{*} На полях помета автора: Если глянуть на свет — океан хлопьев безбрежен. Такова же и ноть. И земля. Окна (чаще точки).

риях; отсчитывают ящики патронов; трубят локомотивы, падая в крутевоночное; люди, люди, люди... — это формируется человечий материал где-то—для первой среднеазиатской, стрелковой.

Уже видит организационный разум.

Вдоль Яика, по степному тракту, бредут в пурге батальоны. Не батальоны — сброд; ворочаются назад — в тыл исстрелянные чапаевские старики; остатки полков; это — ядро формирований будущей дивизии. Там, на Яике еще остались. Через пургу скачет кавбригада тов. Бубенца; перед Бубенцом скачет и летит тиф, краснеют, сыпнеют обморозелые тела казачьи, генерала Толстова последняя рать; свистит пурга — на Гурьев: там помереть, там уйти в закаспийские пески; летит тиф, летит кавбригада Бубенца; а полки сделали свое дело. $\langle 4 \ нрзб \rangle$.

Темно, застит ночь дорогу. Какая это земля? Где хаты, где рязани, ни-

колаевски, где полустанки знакомые?

На полах — на половицах на этапном пункте — грязь шишками, зашарпанная сапотами, махра как тесто — сквозь махру едва-едва — окна; у самого окна, затиснутый толпой, — комендантик, лихой, с красным околышем, с наганчиком — тот самый, что вечером по перрону лихо и франтоватос дочкой ДС*, — перехваченный в талии, с наганчиком, а наверху месяц морозный, пурга утихла — ...Курносый, мокрогубый юный комендантик опупел,
таращит глаза и прут в него дулом, патлатыми, заветренными озверелыми
мордами: — давай приварку, туды-ть твою, ишь, рассиделись здесь! — Этос Яика ядро кадровое, чапаевские старики. — Сейчас всю станцию разгромим к... В теплушках, <1 нрзб> как наседки, опускаются растопыренными
полами прямо на пол, хлебают из черных котелков и везут их — везут, мимопрокруживаются поля, они белы, длинны, нерусски — сдвинуты откуда-то;
вот — за спиной выросли такие, пока ходили по тракту за генералом Толстовым. Орут расщебленные, смятые, взъерошенные полустанки...

И так в город. Там кто застуженный, уже в тифе — в лазарет. Там кто — ротами — в школы, в магазины опустошенные. Вечером в школах, в магазинах чадят лампы, лежат вповалку — сотни спертых; серь, мрак, смрад, дым; это ли жизнь? Войдет какой — охваченный свежей любовью, и тоской и красотой и знающий все слова о человечестве — заглянет — это... Дантов

ад... И как жить — им. Сплошная вошь ползет. А из дверей

— А-ге-ге-ге!

— Растудыть...

— не мученики империалистической, эти — другие. От них ползет вошь. Госпиталя полнятся. Ползет в гостиницу; там уже опечатаны двери в третьем этаже, против Додика: тиф у письмоводителя коменданта. Вползло с Яика, от ген (ерала) Толстова. А окна ночью горят — летят сквозь ночь дома, комнаты. — сны..

И еще в пространствах — опять формирование — это все туда же, в (первую?) среднеазиатскую. Пустые всенкоматы готовятся, пишут; объявлена профессиональная мобилизация в уездном городе Саранске. Там-то $\langle 2 \ \mu psb \rangle$ по профсоюзам. За рекой Саранкой — чужие деревни, поля, в комнатах еще под окладами $\langle ? \rangle$ — лампадки — да и они будто уже в поле светят, не в тысяча девятьсот —

Распишитесь: профмобилизация.

И вот какой-нибудь, может быть, тоже Додик. В прошлом студент-филолог а позже, в девятнадцатом — учитель в саранской гимназии, да еще лектор клуба РКП саранской организации — и еще в наробразе.

Как раз в бывшей семинарии — теперь в унаробразе — съезд школьны: работников уезда. [Три дня шло постатейное голосование нового устава профсоюза, предложенного унаробразом и укомом РКП — прения разгорелист

Начальник станции.

из-за слов 3-го пункта — «строить рабоче-крестьянское просвещение на основах коммунистической идеологии». «Мы беспартийные», — заявили учителя (были барышни, были с бородами за выслугу лет, были люди в футлярах, был бывший студент-филолог, преподаватель реального училища и бывший офицер — вроде Додика, интеллигент, он любил искусство...) — Зачем нам хотят подтасовать партийность, давайте напишем «на социалистической идеологии». Три дня голосовали, горячо говорили, раскололись— 1/3 за и 2/3 (бороды, барышни, футляры) — против. Тот вроде Додика — был все-таки (?) в одной трети — он бывший офицер, было не безопасно еще... Из одной трети разъяренно вышел старый работник по нар (одному) просвещению, сторож Рамзайской бывшей церковно-приходской школы, в глуши, заваленной сугробами, сказал: — Товарищи! как мы знаем этих саботажников! Как ботинки получать, так они, извините, через знакомства и пожалте ордер, а голосовать за советскую власть их нет. <...>

Так и не подписали $\langle 1 \ \text{нрзб} \rangle$ — и вот $\langle 2 \ \text{нрзб} \rangle$: профмобилизация; здесь уже не отговоришься: голосовали и решили — дать. И бывшие семинаристы голосовали и тащили жребий вечером. Была серая, уже снежная:

осень: вечер...]